



Даниил Мордовцев

Державный плотник

«Public Domain»

Мордовцев Д. Л.

Державный плотник / Д. Л. Мордовцев — «Public Domain»,

Даниил Лукич Мордовцев – русский и украинский писатель, историк и публицист. Его сугубо исторические исследования имели у современников успех, сравнимый только с «Историей государства Российского» Н.М.Карамзина. Но история нам понятна тогда, когда мы можем понять чувства минувшего. Художественная проза Даниила Мордовцева исследует чувства и настроения ушедших эпох, она написана живым и образным языком, она экспрессивна и эмоциональна. В книгу вошли роман Д.Мордовцева о Петре 1 «Державный плотник», а также наиболее известные исторические повести писателя.

© Мордовцев Д. Л.

© Public Domain

Содержание

Сидение Раскольников в Соловках	5
I. БУРЯ НА БЕЛОМ МОРЕ У СОЛОВОК	5
II. ЧЕРНЫЙ СОБОР И ПОСОЛ КИРША	10
III. ОТБИТЫЙ ЧЕРНЕЦАМИ «ВОРОП»	16
IV. СИРОТСКАЯ СВЕЧКА ПЕРЕД ГОСПОДОМ	20
V. ОГНЕННЫЙ МОНАХ И ПОСЛАНИЕ АВВАКУМА	25
VI. ОЛЕНУШКА В РАЮ	30
VII. СТРЕЛЬЦЫ ГУЛЯЮТ	34
VIII. СОЛОВЕЦКИЕ СВЯТКИ	40
IX. СПИРИНА ПЕЧЕРОЧКА	45
X. НАЧАЛО БЕСПОПОВЩИНЫ	49
XI. ВОРОВСКОЙ АТАМАН СПИРЯ БЕШЕНЫЙ	54
XII. ИСПОВЕДЬ КНЯЗЯ МЫШЕЦКОГО	58
XIII. РОКОВЫЕ КАЧЕЛИ	62
XIV. «А ВСЕ ИЗ-ЗА ПУЧЕГЛАЗОЙ...»	67
XV. ПЕРЕБЕЖЧИК	71
XVI. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ «СОЛОВЕЦКОГО СИДЕНИЯ»	74
XVII. «НА ТЕПЛЫЕ ВОДЫ»	77
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Даниил Мордовцев

Державный плотник. Роман и повести

Сидение Раскольников в Соловках

Историческая повесть из времени начала раскола на Руси в царствование Алексея Михайловича

I. БУРЯ НА БЕЛОМ МОРЕ У СОЛОВОК

По Белому морю, вдоль Онежской губы, по направлению к Соловецкому острову медленно плыла небольшая флотилия из кочей, наполненных стрельцами. Кочи шли греблей, потому что на море стояла невозмутимая тишь, наводящая одурь на мореходов. Весна 1674 года выдалась ранняя, теплая, и вот уже несколько дней солнце невыносимо медленно от зари до зари ползло по безоблачному небу, почти не погружаясь в море даже ночью и нагоняя на людей тоску и истому. Марило так, что казалось, и небо было раскалено, и от моря отражался жар, и груди дышать было нечем. Кругом стояла такая тишина, что слышен был малейший плач морской чайки где-то за десятки верст, хотя самой птицы и не было видно, да и ей в эту жарынь не леталось. Весла гребцов медленно, лениво, неровно опускались в морскую лазурь и блестя на солнце спадавшими с них алмазными каплями, а с самих гребцов по покрасневшимся лицам катился пот, смачивая разметавшиеся и всклокоченные пряди волос и бороды.

На переднем, на самом большом из всех кочей судне, у кормы, под натянутым на снасти положком сидит старый монах и, водя грязным толстым пальцем по развернутой на коленях книге, читает, гнуся и спотыкаясь на титлах да на длинных словах. На трудных словах особенно трясется его седая козелковая борода:

– «И от Троицы князь великий поедет и с великою княгинею и с детьми в свою отчину на Волок Ламской тешится охотою на зверя прыскачаго и на птица летучая. И тамо яко некоим от Бога посещением нача немощи, и явился на позе его знамя болезненно, мала болячка на левой стране на стегне, на изгиби, близ нужного места, с булавочную голову, верху у нея нет, ни гною в ней нет же, а сама багрова. И тогда наипаче внимаше себе, яко приближается ему пременение от маловременнаго сего жития в вечный живот»...

– «От маловременнаго сего жития в живот вечный»... вон оно что! А все никто как Бог, – рассуждал монах, переводя дух и поправляя на голове скуфейку. – Уж и теплынь же, воевода.

– Что и говорить, тепла печка Богова, – отвечал тот, кого назвали воеводою, сидевший тут же под холстовым напястьем.

А с задних судов доносился говор и смех, но как-то вяло, лениво. По временам кто-то затягивал песню, другой подхватывал – и лениво, монотонно тянули:

*Сотворил ты, Боже, да и небо-землю.
Сотворил же, Боже, весновую службу.
Не давай ты, Боже, зимовые службы,
Зимовая служба молодцам кручинна.
Молодцам кручинна, да сердцу неусладна...*

– Али в экое пекло лучше! – протестует чей-то голос.

– «...И посла по брата своего по князя Ондreja Ивановича на потеху к себе. Князь же Ондрей приехал к нему вскоре. Тогда князь великий нужею выеха со князем Ондреем Ивановичем на поле с собаками», – продолжал гундосить монах под пологом.

*...Ино дай же, Боже, весновую службу,
Весновая служба молодцам веселье.
Молодцам веселье и сердцу утеха.*

– ...А я в те поры был у его, у Стеньки, в водоливах на струге, как он гулял с казаками. А она, полюбовница ево, царевна персицка, сидит на палубе, на складцах, словно маков цвет, изнаряжена, изукрашена, злато-серебро на ей так и горит. А Стенька выпил-таки гораздо, да и ну похваляться перед казаками: мне, говорит, все нипочем, всего добуду и Москву достану. Да и подходит это к своей полюбовнице, берет ее на руки, словно дитго малую, подносит к борту да и говорит: «Ах ты, Волга-матушка, река великая! Словно отец с матерью ты меня кормила-поила, златом-серебром, славой-честию наделила, а я тебя ничем не одарил... На ж тебе, возьми!» Да так, словно шапку, и махнул в воду свою полюбовницу.

– Что ты, братец ты мой! И утопла?

– Как топор ко дну.

Это ведут беседу стрельцы, сидя на носу передового судна. Судно это наряднее всех остальных кочей. Нос и корма его украшены резьбой и расписаны яркими цветами. На вершине мачты, над вертящимся кочетком, водружен восьмиконечный крест. Пониже, в неподвижном воздухе висит на натянутой снасти красный флаг с изображением Георгия Победоносца. Это судно воеводское. Несколько чугунных пушек поблескивает на солнце, выглядывая за борт.

– ...Что ж, воевода, говоря по-божьему, их, старцев, дело правое, – говорил монах, – двумя персты все мы от младых ногтей маливались, и я, и ты. Вон и в этой книге, гляди-тко, изображен старец, видишь? Вон у его перстилки-то два торчат, аки свечечки, а большой перст пригнут.

И монах тыкал пальцем в изображение на одной странице книги.

– Так-то так, я и сам не больно за три персты-то стою, – нехотя отвечал воевода, – да они за великого государя не хотят молиться: еретик-де.

– Ну, это дело великое, страшное: об ем не то сказать, а и помыслить-то, и-и! Спаси Бог!

Они замолчали. Молчали и стрельцы, только гребцы медленно и лениво плескали веслами да назад тянули про «весновую службу»:

*А емлемте, братицы, яровы весельца,
Да сядемте, братицы, в ветляны стружочки.
Да грянемте, братицы, в яровы весельца,
В яровы весельца – ино вниз по Волге.*

– Вон и они про Волгу поют. Хороша река, вольна, – снова заговорил стрелец.

– Как же ты с Волги сюда попал, коли у Разина служил?

– Да у него-то я неволей служил... Допрежь того служба моя была у воеводы Беклемишева, и там, как Стенька настиг нас на Волге да отодрал плетьюми воеводу...

– Что ты! Воеводу! Беклемишева?

– Ево, да это еще милостиво, диви что не утопил... Ну, как это попарил он нашего воеводу, так и взял нас, стрельцов, к себе неволей. А после я и убог от него.

– И ноздри тебе на Москве не вырвали?

– За что ноздри рвать? Я не вор.

– А ты видел, как потом Стеньку-то на Москве сказнили?

– Нет. В те поры мы стояли в черкасских городех, потому чаяли, что етман польской стороны, Петрушка Дорошонок, черкасским людям дурно чинить затевал.

– А я видел. Уж и страсти же, братец ты мой! Обрубили ему руки и ноги, что у борова, а там и голову отсекали, да все это – на колья... Так голова-то все лето на колу маячила: и птицы ее не ели, черви съели, страх! Остался костяк голый, сухой: как ветер-то подует, так он на колу-то и вертится да только кости-то цок-цок-цок...

На западе, ближе к полудню, что-то кучилось у самого горизонта в виде облачка. Да то и было облачко, которое как-то странно вздувалось и как бы ползло по горизонту, на полночь.

– Никак, там заволакивает аер-от...

– И впрямь, кажись, облаци Божьи. Не разверзет ли Господь хляби небесны? – крестится монах.

– А добре бы было, страх упека.

Воевода расстегнул косой ворот желтой шелковой рубахи, зевнул и перекрестил рот.

Облачко заметно расплзлось и вздувалось все выше и выше. Казалось, что в иных местах серая пелена, надвигавшаяся на юго-западную половину неба, как бы трепетала. Старый помор-кормщик, сидевший у руля воеводского судна, зорко следил своими сверкавшими из-под седых бровей рысьими глазками за тем, что делалось на горизонте и выше. Жилистая, черная, как сосновая кора, рука его как-то крепче оперлась на руль.

Слева, по гладкой, почерневшей поверхности моря прошла полосами змеистая рябь. Неизвестно откуда взявшаяся стая чаек с плачем пронеслась на восток, к онежскому берегу, которого было не видно. Душный воздух дрогнул, и кочеток заметался и заскрипел на верху воеводской мачты. Что-то невидимое затрепетало красным полотном, на котором изображен был Георгий, прокалывающий змия с огромными лапами.

– Ай да любо, ветерок! Теперь бы и косым парусом можно, – послышалось откуда-то.

– Напинай, братцы!

– Стой! Не моги! – раздался энергичный голос старого кормщика-помора.

Вдали, на западе, что-то глухо загремело и прокатилось по небу, словно пустая бочка по далекому мосту. Солнце дрогнуло как-то, замигало, бросило тени на море и скоро совсем скрылось. Высоко в воздухе жалобно прописнула, как ребенок, какая-то птичка, и скоро голос ее затерялся где-то далеко в неведомом шуме.

– Не к добру, – проворчал старый кормщик, взглядываясь во что-то по направлению к Соловкам. – На экое святое место да ратью идти!..

– Ты что, дядя, ворожишь? – спросил, подходя, тот стрелец, что служил у Стеньки Разина в водоливах.

– Что! Зосима-Савватий осерчали, дуют.

– Что ты, дядя! За что они осерчали?

– А как же! На их вить вотчину, на святую обитель ратью идем.

– По делам, не бунтуй.

Небо загремело ближе, и как бы что-то тяжелое, упав и расколовшись, покатило по морю. Порывом ветра, неизвестно откуда сорвавшегося словно с цепи, метнуло в сторону полотняный намет и, потрепав в воздухе, бросило в воду. Монах, придерживая скуфейку, прятал под полу книгу, а воевода торопливо застегивал ворот рубахи и крестился «Свят-свят-свят...»

Торрох! Расколосось и обломилось, казалось, все небо над головами оторопелых стрельцов, по-над морем там и здесь пронеслись огненные стрелы, снова разорвалось небо, и хлынул дождь.

* * *

Все кругом крестились, полной грудью втягивая посвежевший влажный воздух и выставляя под дождь разгоревшиеся головы и лица.

– Ай да важно! Разлюли-малина, – раздавались веселые голоса.

Кто-то запел по-детски: «Дожжик-дожжик, припусти!..» Один старый кормщик глядел сурово, заставляя судно поворачиваться левее.

– Водоливы! К плицам! – громко закричал он. – Воду выливай.

Действительно, воды налило много. Кочи стали идти грузнее. Намокшее красное полотно с Георгием Победоносцем болталось, как тряпка, тяжело хлеща по снастям. Ветер крепчал и вздымал море, которое, казалось, распухало, а местами прорывалось и белело тяжелыми брызгами. Беяки шли грядами, и кочи, сбившись с первого курса, тыкаясь в белые буруны носами, металась в беспорядке, как щепки. Кое-где слышались испуганные голоса, резкие выкрики кормщиков.

Монах, упав на колени и ухватившись одной рукой за уключину, громко молился и вздрагивал всем телом, когда его окатывало солеными брызгами: «Господи, спаси! Всесильный, не утопи! Пророк Иона! Пророкушка, матушка! Во чреве китов», – бессвязно стонал он, поднимая правую руку к небу, которое на него свирепо дуло и брызгало водой. Воевода, ухватившись обеими руками за мачту, испуганно озирался, бормоча не то молитвы, не то заклинания: «Охте мне! Светы мои! Зосим-Савватий! Соловецки! Охте, охте!» Стрелец, что служил у Стеньки Разина водоливом, торопливо сбрасывал с себя сапоги, рубаху и порты, как бы собираясь броситься в море и плыть, сам не зная куда.

Одно судно, на котором еще недавно раздавалась песня о «весновой службе», потеряв руль, отбилась в сторону и перекидывалось с гребня на гребень, как пустое корыто. Другие кочи также разбились врозь и то выскакивали на белые гребни валов, то ныряли, болтая в воздухе жалкими мачтами, словно маленькими веретенами. Ветер завывал и взвизгивал, как бы силясь растрепать и оборвать ничтожные снасти, которые потому именно и не обрывались, что были слишком ничтожны...

Еще раз небесная пелена разодралась сверху донизу, и треснул гром; звякнул второй раз еще резче и заколотил по небу сотнями орудий.

На отбившемся и потерявшем руль судне раздался отчаянный крик: «О-оо! Православные! Батюшки! Спасите, кто в Бога верует!»

– Наляг на гребки, братцы! С Богом, наляг! – хрипло командовал кормщик воеводского судна, направляя ход его к тому месту, откуда неслись отчаянные крики.

Гребцы налегли всей грудью, то погружая весла глубоко в пенящиеся волны, то скользя лопастями по бокам валов. Судно вздрагивало, то тыкаясь в воду носом, то западая кормой, так что кормщик, казалось, правил свое судно на водяную перекатывающуюся гору. Судно, потерявшее руль, видимо, потопало: края его чуть заметно чернели в пенящихся бурунах, и только виднелись руки, протягивающиеся к небу, словно рассвирепевшее небо собиралось бросить им спасительные веревки, а на мачте и на снастях отчаянно бились те, которые искали спасения повыше от зияющей и клокочущей бездны.

Не успело воеводское судно настигнуть погибавшее, как последнее совсем захлестнуло темно-зеленым с белым гребнем буруном. Руки, тянувшиеся к небу, разом упали и замолкли на клокочущей поверхности моря, то подымаясь, то исчезая в воде.

– Кидай причалы! Подавай концы, детушки! – не выпуская из рук руля, повелительно и с мольбою кричал старый помор-кормщик.

Взвились в воздухе, разматываясь и кружась волчком, бичевы и веревки и упали в воду в том месте, где потопавшие боролись с волнами, бледные, с исказившимися от ужаса лицами.

Иной, видимо, с отчаянием и злобой погибающего отбивался от топившего его, не умевшего плавать и держаться на воде соседа. Иные руки хватались за веревки, другие, безнадежно поколотив воду, исчезали совсем под нею. Более умелые и сильные боролись с волнами сами и плыли к спасительному судну.

– Православные, спасите Киршу! Полуголове помогите, батюшки! – взмолился воевода, забыв свой собственный страх.

А Кирша, стрелецкий полуголова, взобравшись на мачту потонувшего и уже скрывшегося под водою судна, не чувствуя, что сама мачта опускается все ниже и ниже, умолял сиплым голосом:

– Православные! Отцы мои! Не покиньте! Тону.

Набежавшим буруном потрянуло мачту, руки Кирши скользнули по мокрому дереву, и он, подняв руки к небу, исчез под водою.

– Господи! Помяни во царствии раба... Господи! – с ужасом шептал воевода, безумно озираясь.

– Да, прогневались на нас святые угоднички Зосима-Савватий за то, что мы хотим их святую обитель разорить, – твердил старый кормщик. – Преподобные, помилуйте!

II. ЧЕРНЫЙ СОБОР И ПОСОЛ КИРША

На другой день после грозы и бури стояло чудное летнее утро. Море, накануне всколыхнувшееся мгновенно налетевшею бурей и разметавшее стрелецкую флотилию, теперь снова улеглось на покой и казалось еще голубее, чище и приветливее, чем было до бури. Остров, святая вотчина преподобных Зосимы и Савватия, с темною зеленью, иглистыми лесами и резко очерченными берегами, у которых кружились, реяли в прозрачном воздухе, плакали и выпискивали на разные голоса чайки, мартыны-рыболовы и острохвостые стрижи, казалось, радостно тянулся к небу своими церквами и башнями, словно так и вышедшими, как из купели, из голубой морской пучины. Спасшиеся от потопления стрелецкие суда-большаки и кочи тихо, едва заметно колыхались у берега на поверхности глубокой Соловецкой губы, красиво окаймленной зеленью и серыми, поросшими мохом камнями.

Но в самом монастыре было беспокойно. Во всей святой обители господствовала необычайная тревога. Монастырские ворота и все входы и выходы были заперты. По стенам ходили часовые с ружьями, зорко следя за тем, что делалось на берегу, около стрелецких кочей, и прислушиваясь к смутному говору и смятению, господствовавшим в стенах обители. Соборный колокол, разнося гул далеко по острову и по морю, не то бил сполох, не то созывал черный собор, всю братию и богомольцев, священников и диаконов, соборных старцев и братию рядовую и больничную, монастырских служек и трудников, служилых людей, усольцев и всех православных христиан. В то же время пушкари монастырские по башням и бойницам чистили и заряжали наряд, пушки и пищали затинные. Монастырские голуби, которым так привольно жилось в монастыре на всем готовом, и сизые, и белые волосатые, и глинистые, рудо-желтые, и турмана всех цветов и «в штанцах», белоглазые глуповидные галки, космополиты воробьи и стрижи, охотники до всего высокого и грандиозного, до высоких церквей и грандиозных скал, – все эти пернатые отшельники и певчие, выпугнутые из своих келий-гнезд необычным движением, звоном и суетнею на стенах и башнях, шумно кружились над монастырем и кричали на все птичьи голоса, не зная, где присесть и что думать о суетившейся черной братии, забывшей даже сегодня посыпать зерна и крошек для своей крылатой скромной братии. Один особенно любимый черною братиею глинистый турман «в штанцах», видя общую суматоху и приняв ее сглупу за общее торжество, такие выделял в воздухе кувьрки, что Исачко Воронин, сотник и стратег всего монастырского воинства, зарядив на монастырской стене последнюю затинную пищаль, так залюбовался на воздушные кувьрки любимого монастырского голубя и так задрал свою бородастую голову к небу на этого сорванца-птицу, что чуть не опрокинулся со стены.

На звон колокола из всех монастырских келий, словно черные тараканы из щелей, посыпала черная братия: из пекарен и трапез, из прядильных и дубильных изб, из странноприимных и больничных домов и из схименных конурок. Все это, как пчелы, гудело и торопливо, насколько могло, направлялось к собору, на площадке у которого уже виднелась старшая монастырская братия, отцы строители и рядители: архимандрит Никанор, необыкновенно большебровый и горбоносый старик, келарь Нафанаил, кругленький и пузатенький старичок с красным носом и бородкою в виде двух клоков немытой шерсти, отец Геронтий, сухой и длинный, как сыромятный кнут, чернец, с лицом испостившегося «мурина», городничий старец Протасий – остробородатый, с плутоватыми глазами постный лик. Тут же и мирские лица – сотник Исачко, уже сошедший со стены, и сотник же кемлянин Самко: первый – косой на оба глаза, но необыкновенно меткий пушкарь со вздернутым носом и бородою, второй – с покляпым носом рыжий мужик с рыжею, широкою, как лопата, бородою.

Тут же в кругу стоял и стрелецкий полуголова Кирша, которого накануне мы видели на мачте погибшего судна. Кирша не утонул: он погрузился было в море, но его зацепили багром за кафтан и спасли. У Кирши в руках какая-то бумага. Рядом с ним – тот монашек с козелковой

бородкой, что читал на море воеводе книгу о преставлении государя и великого князя Василия Ивановича.

Сборище у соборного круга увеличивалось с каждой минутой. Сошлись не только монастырские жители, но и пришедшие издалека, из всех концов Московского государства богомольцы и богомолки – из Архангельска, из Москвы, Сибири, с Дону, Волги и даже из черкасской земли. Был тут и галанский немец из Амбурха-града, имевший торговый дом в Архангельске и часто наезжавший в Соловки для покупки у братии поташу, смолы и рыбьего зуба; это был бритый, круглощекий, с голубыми глазами за пивною слюдой немец, и звали его Каролусом Каролусовичем. Каролус Каролусович тоже пришел полюбопытствовать, по какому случаю такой собор в монастыре. Вместе с ним и с семейством архангельского купца Неупокоева, приехавшим поклониться соловецким угодникам, вышла к собору и «саглицкая» немка мистрис Пристлей, давно жившая в Архангельске со своим мужем, агентом одного лондонского торгового дома мистером Пристлеем, и известная всем архангельцам под почетным титулом «саглицкой немки Амалеи Личардовны Простреловой». Это была высокая сухошавая женщина с розовыми щеками, белыми и выдающимися, как у кролика, зубами и глинистыми, как перья у голубя «в штанцах», волосами. Амалея Личардовна приехала в Соловки просто из любопытства, посмотреть на это московитское, как ей казалось, Уэстминстерское аббатство. В долгое пребывание в Архангельске она порядочно выучилась говорить по-русски и была особенно хорошо знакома с женою Неупокоева и его дочкою, семнадцатилетнею девушкою Оленушкою, с которыми теперь и пришла посмотреть на монастырское сборище и послушать, что там будет.

Когда они пришли к сборищу, то увидели, что какой-то широкоплечий, со сросшимися бровями стрелец, это был Кирша, подал архимандриту Никанору свиток с висевшею на шнурке черною печатью, а тот, развернув свиток и повертев его в руках как что-то такое, которое не знаешь с которого конца и начать, передал в руки сухому монаху с лицом мурина, грамотею Геронтию.

* * *

Геронтий развернул свиток, нагнулся к печати, как бы обнюхивая ее, выпрямился, как смоленый шест, кашлянул словно из бочки и тоже словно бы из бочки начал что-то читать. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме отдельно выкрикиваемых слов: «сие наше», «со-со-соборное послание», «и завещание», «передаем и повелеваем неизменно хранить», «и по-и поко-и покорятся святей во-восточней церкви...» Далее отец Геронтий овладел трудностями дьяческой с завитками каллиграфии, и из бочки потекли плавно страшные слова:

– «Аще ли мя кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей восточней церкви и освященному собору или начнет прекословити и противлятися нам, – гремело на весь черный собор, – и мы такового противника, данную нам властью от святаго и животворящего Духа, аще будет от освященнаго чина, извергаем и обнажаем его всякаго священнодействия и благодати, и проклятию предаем...»

При слове «проклятие» сдержанный ропот прошел по собору. Все груди, по-видимому, тяжело дышали. Все усиленно, мучительно-напряженно вслушивались в читаемое и едва ли многое понимали: понимали только одно – «проклятие»; кто-то кого-то проклинал... Кого же, как не их, черную смиренную братию, братию рядовую, служек и трудников? А за что? Вон какие мозоли они понатерли на своих грубых ладонях, работая на святых угодничков Зосим-Савватия... А их проклиняют... Трудно дышит братия, слышно даже это усиленное дыхание...

Иные не то скорбно, не то укоризненно качают поникшими головами...

У отца Никанора ходенем ходят большие брови, а лицо все более и более краснеет. Старец Протасий, оглядывая исподлобья черную братию, глубоко вздыхает. Один Исачко-сотник

косит своими глазами на Киршу-стрельца и как бы хочет сказать: «А попробуй, мы те покажем Кузькину мать...»

– «Аще же от мирского чина, – продолжают вылетать слова из сухой бочки, – отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православнаго всеочленения и стада и от церкви Божия отсекаем яко гниль и непотребен уд, допреже вразумится и возвратится в правду покаянием».

Отец Геронтий передохнул и поправил на висках и на лбу волосы, потому что и на лбу и на висках проступал пот. От волнения и натуги свиток дрожал в его руках и печать на шнуре колыхалась. Сотник Исачко от скуки, он человек ратный и письмо не его дело, его дело зелье нарядное да пищаль затинная, Исачко выследил над монастырем своего любимца голубя, турмана «в штанцах», и искоса опять поглядывал на его отчаянные кувырки в воздухе.

– Что дале, на нет чти, – нетерпеливо и дрожащим голосом понукнул архимандрит.

– «Аще ли кто не вразумится, – продолжал отец Геронтий, – и не возвратится в правду покаянием и пребудет в упрямстве своем до скончания своего – да будет и по смерти отлучен и непощен, и часть его и душа со Иудею-предателем и с роспеншими Христа жидовы и со Арием и с прочими проклятыми еретиками, железо, каменные и древесна да разрушатся и да растлятся, и той да будет неразрешен и не разрушен и яко тимпан бряцай во веки веков, аминь!»

* * *

Многие стояли бледные, дрожащие. Одни робко, недоумевающе поглядывали друг на друга, другие с какою-то робкою мольбою смотрели на старого архимандрита. Отец Никанор – стар бывал человек, жывал и на Москве, и архимандричал в Саввином монастыре, и на глазах у царя бывал, и царь его жаловал. Что-то он, отец Никанор, скажет? Или так-таки всех и выдаст головой анафеме? Али на них и закона нет? А Никанор стоит заряженный, как затинная пищаль. Губы его дрожат. Он вспоминает, как в Москве, лет пять тому назад, принудили его покориться собору, отречься, отплеваться от двуперстия и сугубой аллилуйи, пасть сметием и прахом под нозе Никона... И стыд за прошлый позор, и поздняя злость на свою тогдашнюю слабость потоком гнали его старую, но кипучую еще кровь от сердца к пунцовым щекам, к глазам. Вон Аввакум-протопоп не убоится собора нечестивых и пребысть крепок, аки адамант и яко скала нерушим...

Оленушка, взглянув на Никанора, испуганно прижалась к матери. Ее синие, как морская вода под ярким солнцем, длинные глаза расширились и потемнели.

* * *

– А что дале, после аминя? – резко вдруг спросил Никанор.

– После аминя скрепа дьяка Патриарша приказа, – отвечал Геронтий.

Никанор, взяв из рук его свиток и обведя глазами собор, выпрямил свое старое тело. Он видел, что грамота с проклятием произвела удручающее впечатление на всю братию и даже на ратных людей, преданных монастырю, между которыми, кроме местных поморов и усольцев, находилось несколько донских казаков, после поражений Стеньки Разина перекинувшихся с Волги на Белое море, на службу к соловецким старцам, ибо Стенька не раз говаривал своим удалым молодцам, что и он когда-то был в Соловках и маливался соловецким угодникам. Никанор всего более боялся, чтобы ратные люди под страхом анафемы не покинули монастырь на произвол судьбы, и потому сразу решил, что ему делать. Он подошел к Кирше, как к посланцу царского воеводы, и стал так, чтобы его видели ратные люди, особенно сотники Исачко и Самко.

- Ты по что прислан к нам? – спросил он громко посланца.
- Прислан я с грамотой, – отвечал Кирша, поводя сросшимися бровями.
- Мы вычли оное безлепичное лаяние патриарша дьяка и то бреханье на ветер пустили.

По что ж еще ты прислан к нам?

– Прислан я, – заговорил Кирша по-заученному, – от воеводы Ивана Мещеринова, чтоб вы, соборная и рядовая братия, добились челом великому государю...

– А потом что?

– Чтоб принесли великому государю вины свои...

Никанор перебил его, схватив за руку:

– Вин за нами перед великим государем нет и не бывало, и добивать нам челом великому государю непочто, кроме как молиться за его государское здоровье, и мы то делаем, – скороговоркой проговорил он. – Поди и доложи о сем твоему воеводе... Слыхал?

– По указу его царского пресветлого величества, – как бы не слушая его, продолжал Кирша, – воевода приказал вам монастырь отпереть и государевых ратных людей принять с честью.

Никанор окончательно вспылел.

– Али твой воевода царским словом торговать стал! – закричал он. – Али пресветлое царское слово может исходить из такого поганого смердьего рта, как у твоего воеводы? Али у великого государя бумаги и чернил недостало, чтобы слово его пресветлое всякими пьяными глотками в кабаках выкрикивалось? А! Так, что ли?

Озадаченный Кирша не знал, что отвечать. Он догадался, что воевода сделал оплошность.

– Говори! – приставал к нему Никанор. – Как твой воевода смел украсть царское слово? Али он не знает, что царское слово, как и словеса Господа нашего Иисуса Христа, либо в церкви, как святое Евангелие, должны возглашаться, либо царскою грамотою, по титуле, объявляться? А! Так вы этого не знали?

По собору прошел ропот одобрения. Головы поднялись уверенно, бледность сбежала с лиц. Исачко смело и дерзко измерял своими косыми глазами Киршу, как бы вызывая его на немедленную потасовку. Послышались выкрики: «Али на них и суда нету!», «Али они и впрямь своим дурным наше доброе извести хотят!», «Чего их слушать! Воровство их знакомое!»

Кирша стоял как притравленный зверь, озираясь по сторонам. А прибывший с ним монашек испуганно топтался на месте, точно выглядывая норку или скважинку, в которую можно было бы юркнуть.

* * *

В это мгновение в самую середину круга протискивался какой-то оборванец с длинными, как у простоволосой бабы, никогда не чесанными пасмами волос, падавшими ему на худое, аскетическое лицо и на плечи. Оборванец был босиком, в одной, чужой по-видимому, рубахе, которая была слишком длинна для него. Из-под рубахи виднелись голые, худые, как щепки, икры ног. На шее у него, как у цепной собаки, висела и при движении звякала тяжелая цепь, замкнутая большим замком у горла, ключ от которого был брошен в море. Оборванец держал в руках старую скуфейку, в которой, скукожившись в комочки, спали еще не оперившиеся, с золотым пушком, голубиные выводки. Оглянув круг и нагнувши свою косматую голову, подобно барану, собирающемуся драться, он затопал ногами и, припрыгивая, запел детским голосом:

*Бушка-баран,
Не ходи по горам.*

*Убьют тебя —
Не пеняй на меня.*

Многие вопросительно и испуганно переглянулись. Монастырь давно привык к разным выходкам и причудам своего юродивого; но всегда искал в его словах чего-либо пророческого, какого-либо иносказания и иногда, конечно большею частью уже впоследствии, когда какое-либо событие совершалось, истолковывал их в пользу пророческого провидения своего юродивого: «А вишь, Спирия-то блаженный предсказывал нам это тогда, да мы-то, грешные, не уразумели его святых словес, – говорили обыкновенно монахи, когда случалось что-либо неожиданное. – Вон тады, как с Москвы нам прислали книги с трегубым аллилуем да с треперствием, Спирия-то все нам пел об трех „люлях“ да об „гулях“:

*Люли, люли, люли,
Прилетели гули.*

...Ан стрельцы-то и были эти «гули» самые, а нам, глупым, и невдомек; а «люли»-то была сама трегубая аллилуйя».

Так и теперь «бушка-баран» – это был не просто баран, а кто-либо другой: либо монастырь, либо стрельцы, что под монастырь пришли. «Не ходи, бушка, по горам, убьют тебя» – это что-то очень страшное. Кого Божий человек предостерегает этим: братию ли, посланца ли этого? Кому быть убитым? Эти тревожные вопросы возникали в душе каждого. Одним казалось, что Спирия грозит посланцу, даже в него и лбом уперся; а другие явно видели, что он будто бы показывал вид, что бодает отца архимандрита Никанора.

– Гулюшки, гули, – забормотал вдруг юродивый, нагибаясь к своей скуфейке, – а... проснулись, детки, естухи захотели.

Птенцы действительно подымали свои пушистые с неуклюжими ртами головки и, видимо, искали пищи. Юродивый тут же сел наземь, вынул из сумочки, что висела у него через плечо, горсть зерен, положил их себе в рот, пожевал и пригнулся лицом к скуфье. Птички широко раскрыли красные рты и сами полезли головками в рот юродивого.

Архимандрит Никанор, озадаченный было сначала появлением юродивого и его загадочными словами, скоро пришел в себя и, обведя собор своими волосатыми бровями, обратился к Кирше с угрожающим жестом:

– Поди, скажи твоему воеводе, чтоб он убирался подобру-поздорову: обитель преподобных Зосимы-Савватия не петровское кружало.

Кирша выпрямился.

– Так это вы постановили? – спросил он глухо.

– Постановили и на том стоим, – отвечал Никанор.

– Так мы вас добывать станем, как государевых изменников, – резко сказал Кирша.

– Добывать!

Никанор обернулся и показал рукою на монастырскую стену. На стене в разных местах чернели пушки, около которых стояли пушкари.

– Видишь, каковы у нас галаночки?

– Видим-ста: и у нас таких теток довольно, погорластее ваших будут.

– Что он похвается своими тетками! – возразил Геронтий. – Нам не впервой спроваживать их: али не Игнашка Волохов сломал свои зубы об наши стены?

– Да и Иевлев Корнилко ни с чем ушел, – заметил Никанор, – обитель-то преподобных Зосим-Савватия крепенька живет, сам святитель Филипп, митрополит московский, стенки те выводил.

– Что с ним разговаривать! – слышалось в толпе. – Шелепами его!

– Вон из обители! Вон нечестью! А то и на чепи посидите, – подхватили голоса.

Кирша видел, что его посольство кончено. Он поклонился Никанору и надел шапку.

– Долой шапку! Али не видишь, где ты? Ты перед черным собором!– загудела черная братия.

Кирша повиновался, снял шапку и направился к монастырским воротам. За ним подтюнцем поспешал согнувшийся монашек. Городничий старец Протасий, у которого на поясе висел огромный ключ, сотники Исачко и Самко последовали за посланцами. Старец Протасий отпер одну четвертную складку массивных железных ворот и, пропустив Киршу и монашка, снова запер монастырскую твердыню.

Скоро рослая фигура Исачки вырисовалась на вершине стены. Он стоял, оборотясь к морю, и грозил кому-то кулаком.

III. ОТБИТЫЙ ЧЕРНЕЦАМИ «ВОРОП»

– Бог в помочь тебе, человеце Божий, – сказала Неупокоиха, смиренно подходя к Спири и низко кланяясь ему. – Благослови нас, грешных, да помолись твоими святыми молитвами о здоровье рабов Божьих: меня, рабы божьей Акулины, да рабы божьей Олены, да раба божья Остафья.

При этом Неупокоиха положила перед Спирей золотую монету. Спирия в это время сидел на нижней ступеньке соборного крыльца и играл со своими птичками. Он молча посмотрел на купчиху своими серыми живыми глазами, глубоко запавшими, потом перенес их на Оленушку, которая робко взглянула на него и потупилась, готовая, по-видимому, заплакать: так дрожали ее губы, и щеки подернулись алой краской, как перед слезами. По лицу и по глазам юродивого пробежал свет и тотчас же как бы отлетел, а лицо подернулось туманом.

Молча полез он в свою сумку и, пошуршав там чем-то, вынул оттуда... Оленушка чуть не вскрикнула при виде того, что он вынул, а мать ее испуганно перекрестилась. Юродивый вынул из своей сумки человеческий череп. Это был желтый, потемневший костяк, который, вероятно, очень долго лежал в земле. Спирия долго смотрел на него, тихо качая косматой головой, потом снова перенес свой взгляд на Оленушку. Теперь в этом взгляде теплилось что-то доброе.

– Видишь это, раба Божья Олена? – спросил он, обращаясь к девушке.

Та стояла молча и дрожала, прижимаясь к матери. Расширившиеся от испуга глаза готовы были брызнуть слезами. Нижняя губа сложилась в плаксивую складку.

– Видишь, Оленушка? – переспросил юродивый ласково.

Молчит испуганная девушка. Не менее испуганная мать хватается ее за руку.

– Говори... молви словечко, дитятко... Говори Божьему человеку: вижу, мол, – бормотала она.

– Вижу, – чуть слышно прошептала девушка.

Юродивый замотал головой, взглянул на солнце, которое высоко стояло над монастырской оградой, снова перенес глаза на череп, перекрестил его, поцеловал и опять остановил свой взгляд на смущенном лице девушки.

– А она была похожа на тебя, – сказал он тихо, – только у нее глаза были черные, что крупный терн, а у тебя вон сини... Да она ж была грешница, а ты чистая отроковица... Молись же об ее душеньке, об рабе Божьей Анастасее... Будешь молиться?..

– Буду, – прошептала Оленушка и вдруг заплакала.

– Что ты! Что ты, дитятко! – утешала ее мать. – Божий человек тебе святое слово сказал, что ж плакать? И я буду молиться об рабе Божьей Анастасее, – говорила она, по-видимому, совсем успокоенная. – Кто ж она была, Анастасея-то?

– Гулюшки, гули, – заговорил юродивый, не отвечая на вопрос и обращаясь к своим птенцам. – Ишь вор, отнял у вас матушку.

– А они сиротки? – участливо спросила Неупокоиха.

– Их матушку голубку Никон съел, – ответил юродивый.

– Какой Никон, батюшка?

– Вор-ястреб.

– Ах, бедны сироточки!

Юродивый вспомнил о червонце, который положила у его скуфьи Неупокоиха, взял его и возвратил ей.

– Отдай сей сор сметие тем, у кого хлеба нет, – сказал он, – пушай помянут рабу Божью Анастасею.

В это время подошла к ним аглицкая немка Амалея Личардовна. Увидев ее, Спирия торопливо схватил свою скуфейку с птичками и побежал, испуганно оглядываясь и бормоча: «Чур-чур-чур! Бес во образе немки... бес с курьими лапками...»

– Это дурачок, матушка?– спросила она Неупокоиху.

– Нет, матушка, Амалея Личардовна: он юродивый, урод Христа ради, – отвечала та.

– Так шут?

– Нет, матушка, не шут, помилуй Бог! – испуганно заговорила набожная купчиха. – Он Божий человек, святой, что ты!

– А у нас, в аглицкой земле, таковых юродивых нет, а есть токмо шуты, и они бывают умны гораздо, – настаивала аглицкая немка, которая хотя и давно жила в России, а все еще многие стороны жизни поражали ее.

– Нету, нету, родимая, то шуты – особо статья: то у нас скоморохи, гудошники, бражники... А то уроды Христа ради.

Амалея Личардовна вспомнила, как она, еще девушкой, в первый раз увидела своего будущего жениха в театре и именно когда играли об одном несчастном старом короле, которого называли Лиром и у которого были три дочери. Там она видела на сцене и шута, такого же юродивого... А здесь, в московской земле, ничего подобного нет... И она невольно вздохнула, взглянув на солнце: и солнце здесь не такое, не так ходит, как в ее родной аглицкой земле. Так низко ходит московское солнце!..

– У нас, в аглицкой земле, я такового шута видела на theatre, – сказала она, обращаясь к Оленушке.

– На чем? – с любопытством спросила девушка, которая уже много диковинного и непостижимого слышала от Амалеи Личардовны. – На чем, говоришь?

– На theatre, Оленушка, – отвечала аглицкая немка. – Да я уж тебе сказывала о theatre.

– А! Помню, помню... Это дом такой, палата большая, аки бы церковь, а в ней люди сидят на скамьях, да друг над дружкой, высоко, ряда в четыре, сидят и глядят на действие: выйдет это аки бы король, либо королева, либо принц и говорят, говорят либо подерутся нарочно, а то жених с невестой выйдут, тоже говорят о своем сердце. Ах, кабы мне посмотреть на все это!

– Что ты! Что ты, непутевая! – остановила ее мать. – В эком-то святом месте да об скоморохах... Вон и у нас на святках хари надевают да наряжаются, кто козой, кто медведем, кто бесом, тьфу! Не к месту бы сказать, грех какой!

Вдруг что-то грохнуло так, что все вздрогнули. Неупокоиха даже присела от испугу. Оглядевшись, увидела, что в одном месте над монастырской стеной клубился дым. Сотник Исачко стоял около пушки, над которой и подымался, тая в воздухе, белый дым, и смотрел куда-то в зрительную трубку. В других местах на стене тоже суетились ратные люди. Из келий торопливо выходили монахи, тревожно посматривая на стены.

– Пушкари, к наряду! По местам!– раздался зычный голос Исачки.

– Пушкари, по местам! – повторилась та же команда где-то в воротной башне, это распорядился сотник Самко.

* * *

Почти в одно мгновенье передовая монастырская стена усыпана была ратными людьми. Скоро на стене показались священники в облачении и монахи. В воздухе заблестели золотые и серебряные оклады икон, несомых по монастырской стене. Церковные хоругви, возвышаясь почти наравне с башнями, веяли в воздухе как крылья и скрипели огорлиями. Впереди процессии шел Никанор в архимандричьем облачении и митре, искрившейся дорогими камнями и бурмицким жемчугом, и, осеня серебряным распятием пушки и ратных людей, кропил направо и налево святою водой. Что-то чарующее, поражающее представляла эта кар-

тина, где, казалось, всю воинственную рать составляли черные клобуки. Со стены несло пение нескольких сот голосов, большею частью старых, жалких, дребезжащих, как ослабевшие струны гуслей, но их подхватывали и молодые, сильные голоса, разносившиеся далеко по взморью чем-то глубоко трогательным и печальным. Казалось, древняя священная обитель отпевала себя заживо и кропила святою водою свою собственную могилу. И над всем этим стаи вспугнутых голубей, и выше всех в глубокой синеве слабо поблескивает белыми крыльями общий монастырский любимец, белый турман «в штанцах».

А там, внизу, на море, на голубой поверхности залива тихо покачивались суда, привезшие ратных людей, собиравшихся громить святую обитель. Кровавым пятном горел на солнце красный флаг воеводского судна. А еще ближе, по берегу, краснелись целые кровавые полосы: это красные кафтаны стрельцов, которые, переняв у немцев некоторые воинские хитрости, шли нога в ногу, поблескивая ружьями. Впереди несли тяжелый зеленый стяг с золотыми кистями. За ними медленно двигались, скрипя и покачиваясь в воздухе, какие-то чудовища вроде виселиц на толстых колесах: то были «тараны», стенобитные орудия, которыми предназначалось разбить в щебень стены, сложенные когда-то руками самого Филиппа, святителя московского, во время его печального изгнания. За таранами чернелись пушки, которые стрельцы везли на себе ляжками. Под зеленым стягом грузно переваливалась массивная фигура, сверкая шлемом и кольчугою: это был сам воевода, холоп его пресветлого царского величества, Ивашка Мещеринов.

Еще пение на стенах не умолкло, как послышалась резкая команда, еще никогда не слышанная пушкарями.

– Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас! – прозвучал по стене голос Никанора.
– Аминь! – отвечали сотники.

И разом грянуло несколько десятков пушек. Дым заволок стены, башни и самих пушкарей. Никанор осенял пушки крестом. Хор черной братии последними надорванными голосами грянул: «Спаси, Господи, люди твоя!..» Внутри монастыря послышались крики и отчаянные вопли богомольцев, которых так неожиданно застигла страшная осада.

Исачко своими косыми глазами ясно видел, что пущенные им ядра не долетели до стрельцов, взрыв землю за несколько десятков шагов впереди их строя. Пушкари вновь зарядили пушки.

Никанор, весь красный, с каплями пота, засевшими в его волосатых бровях, ходил от пушки к пушке, кадил их и пушкарей и кропил святою водою.

– Матушки мои! Галаночки! – приговаривал он к пушкам. – На вас наша надежда, вы нас обороните!

Дым ладана смешивался с пороховым дымом. Пушкари, целуя крест, снова кидались к пушкам. Голос сухого Геронтия, как боевая труба, гремел среди плачущего и взывающего хора: «Спаси, Господи, люди твоя!..» Вопли внутри монастыря раздирали душу.

– Стреляйте, детушки, стреляйте! – кричал Никанор. – Да смотрите хорошенько в трубки, где воевода: в него, жирного, и стреляйте, детки! Коли поразим пастыря, ратные люди разойдутся, аки овцы.

Залпы следовали за залпами, ядра взрывали землю и разбивали камни, а стрельцы все надвигались, и все виднее и виднее вырисовывались железные головы стенобитных орудий. Последовал залп и с той стороны. Ядра, как громадные орешины, защелкали по монастырской стене и с визгом отскакивали назад, отбивая куски камней и глины.

– В стяг-от, в стяг зеленый мети, Исачушко-друг! – молил Никанор. – Там воевода.

На стену вынесли запрестольный образ покровителей монастыря. Далеко блеснула золоченая риза и золотые, с самоцветными камнями венцы вокруг темных ликов преподобных Зосимы и Савватия.

Никанор упал перед иконой.

– Святители! Угоднички! Не выдайте своей обители на поругание! – вопил он, ползая перед иконой. – Гляньте-ко с неба сюда! Махните, погрозите перстами святыми на еретиков!

А ядра все гуще и гуще стучат в стены, Исачко ревет на своих пушкарей.

– Дайте, братцы! – закричал он. – Дайте, душу свою вместо ядра и зелья засыплю в матушку!

И он сам зарядил пушку, сам навел ее и грянул. Зеленое знамя упало, словно подкошенное. Взрыв радости огласил стены.

– Стяг упал! Стяг подбили! – кричали пушкари. – Любо! Любо! Еще катай!

Никанор, раскосмаченный, без митры, которую держал служка, бросился кропить и целовать пушку, которая поубавила московский стяг.

– Спасибо! Матушка! Галаночка! Еще угоди, в воеводу угоди, родная!

Новые залпы расстроили передние ряды стрельцов. Стенобитные орудия остановились. Москвичи задумались.

В это время там, где остановились стрельцы, чтобы, немного передохнув, снова двинуться на монастырь, справа, на пригорке, показалась человеческая фигура. Неизвестный шел к стрельцам и что-то показывал им, поднимая руки. Со стены скоро узнали его: это был Спирия, который показывал стрельцам свою скуфью с птичками.

– Смотри-тко, братцы, Спирия! – закричали пушкари. – Ай-ай!

– Он и есть, братцы. Что он задумал?

Московские стрельцы, видимо, обратили внимание на этого странного человека. Все глядели в его сторону. Некоторые побежали к нему.

В это самое время слева, где рос кустарник, как из земли выросли люди. Прикрываясь кустарником, они приблизились на ружейный выстрел к правому крылу московского отряда. И их узнали с монастырской стены.

– Братцы! Да это наши там с казаками! – раздались радостные голоса.

– Наши! Ай да молодцы! В засад пошли...

Действительно, то была небольшая партия донцов вместе с молодыми и старыми монахами из рядовой братии, рыбаков и других трудников. Ярко оттенялись в зелени кустарника черные клобуки и скуфьи.

И вдруг из кустарника раздался ружейный залп. Московские стрельцы дрогнули от такой неожиданности: они сразу поняли, что это засада. Некоторые из них, пораженные пулями, упали. В этот момент и крепостные пушки дали залп.

Косой Исачко и кемлянин Самко распорядились нарядом. Задымленные пороховой сажей, без шапок, то с банником в руке, то с дымящимся фитилем, они были страшны. Пушкари не отставали от них. Пушки накалились до того, что к ним нельзя было дотронуться.

– Уходят еретики! Уходят! – прошел по стене радостный крик.

– Наутек! Наутек! Улю-лю-лю!

– Святители! – с радостными слезами стонал Никанор.

Черный хор с ревушим Геронтием во главе дребезжал разбитыми голосами и гнусел до самого неба: «Взбранней воеводе победительная, яко избавляшеся от злых...»

– Хвалите Бога, отцы и братие! Кричите до самого престола его! Владыко всесильный!

Приступ был отбит.

IV. СИРОТСКАЯ СВЕЧКА ПЕРЕД ГОСПОДОМ

Странное, удивительное то было время. Маленький островок, едва заметный на карте, ничтожный огорбок, выползший из-под неизмеримых вод Северного Ледовитого океана, крохотная песчинка среди песков морских, Соловецкий монастырь отложился, ушел из-под державы великого неисходимого Московского государства, и московский великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые России, самодержец московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверской, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода низовской земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондинский, витебский, мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь иверския земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинские земли черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель (таков был полный титул Алексея Михайловича, и за прописку хотя единого слова в этом титуле дьяка постигало обычное наказание: «Бить батоном нещадно»), и такой могущественный государь в течение восемнадцати лет не мог подклонить под свою державную руку этого отбившегося от великого российского стада ягненка. Да и не до того тогда было. Повторяем: то было странное, удивительное время.

Эпитет «тишайший», приданный Алексею Михайловичу его современниками, совсем не подходил к характеристике его царствования, полного бурных событий. Он был кроток, набожен, со всеми ласков, с необыкновенно привязчивым сердцем. Он искренно любил Россию, свой народ и всем сердцем желал ему добра, счастья, благоденствия. Его голубиную душу глубоко ценили все его приближенные, с которыми он обходился с отеческою нежностью, и если иногда и наказывал царедворцев за упущения по службе, только не за злоупотребления, то истинно по-отечески: любимое его наказание было купать бояр в пруду. Вот что он сам писал об этом своему стольнику, Матюшкину: «Извещаю тебя, што тем утешаюся, што стольников купаю ежеутре в пруде. Иордан хороша сделана, человека по четыре и по пяти, и по двенадцати человек, за то, кто не успеет к моему смотру, так того и купаю; да и после купания жалую, зову их ежедень, у меня купальщики те едят вдоволь, а иные говорят: мы-де нароком не успеем, так-де и нас выкупают, да и за стол посадят – многие нароком не успевают...» И царь доволен, тешится, и выкупанные царедворцы довольны, и ни один не простужался, кушая в мокрой одежде, разве что насморк схватит, который послабее... Да что тогда и за насморки были, когда без платка сморкались!.. Таковы были люди, таковы были у них и нервы...

И это-то благодушное царствование благодушнейшего и «тишайшего» государя оказалось самым бурным, роковым для России, государственно и духовно расколовшим ее надвое, на две половинки, которые доселе, через два столетия, не могут спаяться воедино.

Что же это был за клин такой чудовищный, который расколол такое громадное, вековое дерево, как Московское царство, расколол надвое от ветвей и вершины до корня? И где нашелся еще более чудовищный обух, который вогнал этот страшный клин в вековой московский дуб, вогнал так, что расщепил его надвое? Чья, наконец, была та богатырская рука, которая направила сокрушительный обух на московский дуб?

На эти страшные вопросы во вкусе бессмертного Иоаникия Галятковского можно отвечать только в его вкусе, метафорически.

* * *

Великий клин, расколовший Московское царство, был – идея. Идея, в каком бы виде она ни входила в государство, в общество, в семью, всегда входила клином в живое тело и расщепляла его: входила ли она в виде живого слова, проповеди, в виде книги, в виде знания, она всегда и везде одними усваивалась и принималась, другими отрицалась. Принимали ее обыкновенно или почему-либо равнодушные к господствующим понятиям члены государства, общества и семьи, или же члены молодые, юные, для которых господствующие понятия не стали еще делом привычки, чем-то дорогим, своим. Отсюда являлось раздвоение мнений в государстве, в обществе, в семье: отсюда раскол в обширном, историческом смысле слова, разделение на «приемлющих» и на «неприемлющих», на людей «новых» и на людей «старого порядка». Эту идею во время Алексея Михайловича была книга, и притом печатная, потому что в Москве завелась первая типография, занесенная из Киева, из того места, откуда заносилось в древнюю Русь все лучшее – христианство, просвещение, печать. Прежде всего, конечно, нужно было напечатать самые важные, самые необходимые книги. А таковыми были книги богослужбные. Начали печатать их. Но с какого оригинала наборщикам набирать их? Надо было найти лучшие, правильнейшие оригиналы. Собрали их. Стали сверять, оказались незначительные разноречия, и в иных описки, которые от давности вошли в привычку, как, например, «Исус» вместо «Иисус». Книги сверили с греческими подлинниками, исправили и напечатали. Тогда люди привычки, старые люди, отказались принять новые книги... Клин остановился в дереве, ни взад, ни вперед...

Тогда является обух и бьет по клину. Клин, повинувшись страшной силе обуха, входит в дерево и расщепляет его надвое. Обух этот – Никон: он проклял не приемлющих новые книги... Те ошетинились...

Рука, двигавшая обухом – Никоном, было время: «Приспе бо час»... «Приспе час» и Московскому государству дать у себя место печати, книге, новой идее...

Соловецкий монастырь вместе с прочими людьми старого склада не принял новых книг и откололся от Московского государства. Нашлись было и в этом монастыре «новые люди», молодые попы, которые начали было служить по новым книгам; но их архимандрит велел «сечь плетми», и они покаялись после вторичного сеченья.

Вскоре и сам Никон, так сказать, «отложился». Оскорбленный невниманием царя, который не иначе прежде называл его как «собинным другом», Никон бросил патриарший престол и ушел в монастырь, показывая на стоявшую в то время на небе комету:

– Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи!

Он заперся в своем монастыре и сидел там ровно девять лет. Потом его судили и «обнажили» высокого святительского сана... «Откололся» таким образом и Никон, но не от новых книг...

Затем через год или два после суда над Никоном Стенька Разин «отколол» от Московского государства всю юго-восточную окраину... Так до того ли было Московскому государству, чтобы думать об отложившемся ничтожном островке на Белом море, о Соловецком монастыре... Вот и сидят себе старцы в своей обители, и поют по старым книгам...

Разина берут и помещают его буйную голову на кол.

Москву очищают от главных вожаків сопротивления новой идее – новым книгам: протопопа Аввакума и других воротил «отколовшегося» московского общества ссылают в Пустозерск.

Остается один Соловецкий монастырь. Покончив со всеми, принимаются и за него. Шлют туда стряпчего Игнашку Волохова с ратными людьми. Черная братия принимает Игнашку в пушки и прогоняет от своих стен.

Шлют стрелецкого голову Корнилишку Иевлева со стрельцами, и его встречают «галаночками» и гонят аки волка из овчарни.

Шлют, наконец, воеводу Ивашку Мещеринова с целою флотилиею, с пушками и стенобитными орудиями. И Ивашку принимают в «галаночки».

После неудачного приступа Мещеринов отошел к своим кочам. А монастырь, усилив караулы поблизости стен и подмонастырного хоромного строения и амбаров, вошел снова в обычную жизненную колею. Но через три дня после приступа случилось обстоятельство, которое послужило началом рокового, трагического исхода «соловецкого сидения».

* * *

Старшая начальная монастырская братия, архимандрит Никанор, келарь Нафанаил, городничий старец Протасий и монастырский законник и грамотей Геронтий сидели в трапезной келье и занимались монастырскими делами. Все они сидели на лавке, а Геронтий у стола, на котором лежали бумаги, книги в кожаных и сермяжных переплетах, свитки и стояла медная большая с узеньким горлышком и ушками пузатая чернильница с воткнутою в нее камышовою для письма «тростию». Утреннее солнце, проникая сквозь узенькие, зеленого стекла, с железными решетинами окна, бросало зеленовато-радужные светлые пятна на бумаги, на серьезные лица братии и на согнувшийся над бумагою широкий затылок Геронтия. У порога стояли два мужика в синих рубахах и усиленно встряхивали волосами, стараясь понять то, что читал нараспев Геронтий:

– «...А который человек по грехом от своих рук утерьетца, или в лесе с дерева убьетца, или колесом и возом сотрет, или озябет, или сторит, или утонет, или утопленник водою приплывет, а то обыщут без хитрости, что которой от своих рук истерьетца и с тех веры за голову не имати», – читал Геронтий и на этом месте поднял свою черную голову.

– Не имати, – повторил отец Никанор в раздумье, – стало, на вас поголовщина не падает, – глянул он на мужиков.

Мужики потоптались на месте. Из них низенький, с бородавкою на скуле и белыми финскими глазами, смело выставил правый локоть вперед и заложил большой палец правой же руки за подпояску, на которой сбоку болтался деревянный гребешок, которым можно было расчесать разве только хвост у лошади.

– Кака, отцы, поголовщина? – сказал он уверенно. В это время в келью вошел молодой высокий чернец.

Черные говорливые глаза под крутыми бровьяными навесами, широкие скулы, редкая черная бородка, маленькие мягкие усы, не прикрывающие мясистых красных губ, и тщательно заплетенная коса изобличали в нем не худородного чернеца, да и одет он был чисто. Войдя в келью, он помолился на образа и, сделав шаг к Никанору, поклонился в землю.

– С чем? – спросил архимандрит.

– С челобитьем, святой отец, – отвечал чернец отрывисто.

– А в чем твое челобитье?

Чернец вынул из-за пазухи сложенную вчетверо бумагу и с низким поклоном подал архимандриту, который, не развертывая бумаги, глядел на просителя.

– Жалоба мне, святой архимандрит, на купецкую женку, на Неупокоеву.

Архимандрит видимо удивился. И другие отцы глядели на просителя с удивлением.

– На-кось, вычти, – сказал Никанор, передавая бумагу Геронтию.

Тот медленно развернул челобитную, разглядел ее и, защищая своею тенью от солнца, стал читать:

– «...Государю архимандриту Никанору еже о Христе с братьею бьет челом нищий государев сиротинка и ваш богомолец, соборной попишко, иеромонашишко Феклиско. Жалоба

мне, нищему твоему государеву сиротинке, на купецку жену Неупокоеву, на Акулину Иванову из Архангельского города. В нонешнем, государь, году, месяца июня во 2-й день, приходила та Акулина с понехидою и подала мне, нищему вашему государеву сиротинке и холопишку, поминанье с большим предисловием. И яз, нищий ваш, поминание у нее взял и стал читать родителей Акулининых. И та Акулина мне, нищему вашему, стала говорить: прочитай-де и все. И яз, нищий ваш, стал ей говорить: „Акулина Ивановна, много прочитай, не одна ты“. И она, государь, Акулина, возгордев бога чеством своим, учала меня, нищего, бранить лодыжником, и долгогривым шпынем, и кутьею называть, и мучителем обзывать при народе. И яз, нищий ваш государев, не хотя от нее позору и терпети, ее легонько взашей вывел вон из церкви, а она сильною мне чинилася, упиралась и кукиш мне якобы с маслом в нос совала. А назавтра приволокся я по челобитью к богомолке бабе Нениле понехиды служить, и та же меня Акулина нищею вашею собакою называет, и жеребцом, и кобыльею головою, и бранит всячески неудобь сказаемо. Умилосердися, государь, святой архимандрит Никанор, пожалуй на ту Акулину Иванову дочь свой праведный сыск и оборонь, что мне, вашему государеву богомольцу и холопишке, от ее позорные брани и бесчестия нигде от ней уходу нет, ни в кельях, ни в церкви Божий, от ее брани и позору чтоб мне, нищему вашему государеву богомольцу, впредь как жити у престолу соборные церкви под твоим, государя своего, благословеньем и жалованьем. Государь, святой архимандрит Никанор, смилуйся пожалуй».

Отец Геронтий, кончив читать, подозрительно взглянул на челобитчика. Мужички у порога переглядывались, и моргающие глазки низенького мужичонка как бы подмигивали товарищу: «Знаем-де мы его, кочета брудастого, всех наших кемлянок перетоптал». Архимандрит глядел сердито, двигая, как таракан, своими волосатыми бровями.

– Не затейно ли ты, малый, написал? – кинул он на него недоверчивый взгляд.

– Для чего затейно, государь?

– Для чего! По твоей дурости... Она, Неупокоиха, баба статейна и усердна: ежегодно вклады дает на монастырь, да и вон пять бочек беременных вина рейнского пожаловала на обитель... Я поспрошаю у ней.

– Сыщи, государь.

– А послухи есть? – спросил городничий старец. Челобитчик замялся.

– Видоки были? – повторил вопрос архимандрит.

– Она, государь, шпынем, кобылей ладоницей лаяла.

Мужики переглянулись... «Так-де и бабы кемлянки зовут его», – говорили глазки низенького.

– А при свидетелях это было? – переспросил городничий.

В дверях показалась косматая голова и скуфья в руках. Мужики торопливо расступились. Юродивый вбежал радостный, восторженный.

– Бегите, отцы, молиться... у нас светлый праздник, – заговорил он возбужденно.

Все смотрели на него недоумевающе и со страхом. Знали, что Спирия даром не станет радоваться.

– Что ты, Спирия? Не мешай нам, мы церковное дело строим, – строго сказал архимандрит.

– Какое дело в праздник! На дворе велик день!

– Какой велик день?

– Все свечи зажжены... все паникадила... до Бога полымя...

– Да что с тобой?

– Я плясать хочу, вот что... Сам Бог глядит на нас, а вы – на! Вокруг дурна возитесь...

Он искоса взглянул на чернеца-челобитчика. Между тем со двора доносился какой-то смешанный гул. Соборный колокол загудел беспорядочно, набатно...

– Сполох, отцы! – тревожно, шепотом заговорил архимандрит, озираясь на всех и вставая.

– Трезвон, великая служба, разлили малина! – радовался Спирия и прискакивал.

Все поспешили на двор. Там уже был весь монастырь на ногах. По небу ходили клубы дыму.

– Угодья горят! Кругом поджога! – слышались тревожные голоса. – Это они, злодеи!

– Все, все свечечки теплятся к Богу, весело! – твердил юродивый, поспешая вместе со старцами на монастырскую стену.

Действительно, когда старцы вышли на стену, то с ужасом увидели, что весь остров точно утыкан горящими свечами, огненным кольцом было опоясано все пространство на несколько верст от монастыря. Огни горели ровно, тихо, потому что и в воздухе стояла тишина, только в иных местах полымя поднималось высоко и широко, как все уставленное свечами паника-дило, а в других местах теплились одинокие копеечные свечечки. Это горели монастырские дровяные склады, скирды многолетнего запаса сена, постройки для рыбного и звериного лова, монастырские карбасы, рыболовные и звероловные снасти – все, куда ни глянешь, горело и дымило, восходя к небу клубами дыма. В просветах пламени виднелось темно-синее море. Птицы носились в воздухе, оглашая весь остров криками. К этому примешивался ужасающий рев скотины и ржанье лошадей.

Старцы стояли безмолвно, как бы вдумываясь в глубину страшного явления, совершавшегося на их глазах. У Никанора седые брови окончательно надвинулись на глаза и судорожно вздрагивали. Отец Геронтий, казалось, еще более высох и вытянулся в кнут. В стороне раздавались возгласы негодования: «Злодеи! Богоотступники! Да они хуже татар! Изверги!»

Один Спирия, казалось, ликовал. Он радостно поскакивал и то говорил со своими голубятками: «Гулюшки-гули», то бормотал вслух: «Ай да Иванушка-дурачок! Мещеринушка воевода! Умно сделал, почистил нас, а то уж мы больно грязно жили, жирно ели, сладко пили, мало Богу работали... ай да Иванушка! Затеплил нашу сиротску свечечку перед Господом...»

Ждали вторичного приступа стрельцов и приготовились к отражению их; но приступа на этот раз не было, он был впереди.

V. ОГНЕННЫЙ МОНАХ И ПОСЛАНИЕ АВВАКУМА

Когда в монастыре убедились, что Мещеринов не намерен брать стены на вороп, добывать монастырь «наглостно», а умыслил измором извести святую обитель, временем и голодом истомить, и стал для того вести подкопы под землю, насыпать валы да строить городки, то черная братия опять созвала собор: что делать? на что решиться?

На собор созвана была только черная братия, а из мирян приглашены лишь сотники Исачко Воронин да Самко-кемлянин. Собор был в трапезе.

Только что Никанор, перекрестясь на образа и поклонившись черному собору, хотел было говорить, как в трапезу вошел Спирия, а с ним никому не ведомый монах. Он был сух, как Геронтий, но только ниже его значительно, с огненного цвета волосами, черными, запавшими, но горевшими фосфорическим блеском глазами и с лицом, изборожденным морщинами. В руках его был железный посох с крестом вместо ручки. За поясом берестяной бурак. Босые ноги, по-видимому, никогда не знали сапог, ни даже лаптей.

Огненный монах вошел, потупя голову, потом поднял глаза к переднему углу, помолился и земно поклонился передовым старцам, а потом в пояс на все четыре стороны.

– Мир обители сей и благословение Божие, – произнес пришелец.

– Аминь! – глухо повторил весь собор.

Пришелец опять поклонился.

– Кто еси, человече, и откуда пришествие твое? – спросил архимандрит.

– Что ти во имени моем? Аз есмь птица Божья, зверь лесной пред Господом. А пришествие мое от стран полуночных, из страны далекой, из града Пустозерска. Меня послал блаженный протопоп Аввакум.

При имени Аввакума по собору прошел ропот удивления. Слава этого имени разнесена была во все концы Московского государства: он высился в глазах всех, как единый крепкий алмазный столп среди падающего правоверия.

– С чем прислал тебя отец Аввакум? – спросил Никанор, обрадованный и в то же время видимо смущенный.

– С рукописанием, – отвечал огненный чернец.

– К нам? К соловецкой братии?

– К вам, отцы.

Все ждали, что пришелец сейчас подаст письмо. Но он оглянулся, ища кого-то глазами. Глаза остановились на юродивом, который сидел на полу и улыбался.

– Али печать не сломишь? – спросил он, продолжая улыбаться.

– Не сломя, брате, крепка.

– Так визгалочку, поди, дать?

– Визгалочку бы.

Спирия полез в свою сумку и вынул оттуда подпилоч, по-видимому, заранее приготовленный. Все с недоумением смотрели, что дальше будет. Огненный монах стал раздеваться среди собора: распоясался, снял полукафтанье и очутился в власянице и портах. Власяница была до того жестка, словно бы она была соткана из тонких колючих проволок. Ропот удивления опять, как ветерок, прошел по собору. Огненный чернец снял и власяницу... Собор ахнул! Сухое тело было обтянуто железными обручами, словно развалившийся бочонок, буквально оковано железом, которое так и въелось в тело и во многих местах проржавело там, где было до мяса и почти до кости протерто тело...

То было странное и страшное время: гонения, воздвигнутые на людей, не признавших новых книг, на людей старого мировоззрения, которых новый исторический клин отколол от «новых людей», выработали изумительные характеры подвижников старой веры, и чем нагне-

тение на них было острее, тем более обострялся фанатизм преследуемых и, по общему историческому закону, тем более росло их стадо: ничто так не ускоряет рост и не способствует густоте летораслей на дереве, как подрезывание их...

Собор содрогнулся, увидев это худое, искрещенное железными обручами тело. Вокруг пояса обвивалась железная же полоса, шириною в три пальца. Она окончательно въелась в тело, так что краев ее не было даже видно. Полоса спереди замыкалась замком, который висел на двух сходящихся плотно проушинах.

Спиря стал пилить дужку у замка,

– Ноли нет ключа? – с дрожью в голосе спросил Никанор, весь бледный.

– Ключ у Аввакума на кресте, – был ответ.

– О-о-ох! – простонал кто-то в толпе. – Господи!

Подпилочек визжал по нервам... но тогда нервов не знали... он визжал прямо по душе, и притом по грешной душе... Все чувствовали эту визготню там, в себе, глубоко, и им чудились муки ада: горящие смолою котлы с плавающими в них людьми; люди, жарящиеся на громадных сковородах, словно осетры; пилы, визжащие по костям и по становым хребтам грешников; крючья, на которых висят подвешенные за ребра люди; клещи, вытаскивающие языки и жилы из рук и ног...

Визжит, визжит, визжит подпилочек! Со Спири пот градом катится...

– Сме-ерть моя! – выкрикнул Исачко-сотник и упал в ноги пришельцу и стал их страстно целовать: это была увлекающаяся, детская натура.

– А! Донял, – добродушно улыбнулся Спиря, – это не пищаль, брат, не гуля в штанцах.

Дужка замка распалась. Замок звякнул о каменный помост. Все вздрогнули.

– А как ты, миленький, к нам попал? – спросил Никанор, все еще бледный.

– Вот дурачок провел, из Анзерского скита, – указал пришелец на Спирию.

– А ты уж и там побывал? – удивился архимандрит.

– Не я, а мои ноги, – отвечал Спиря.

Исачко, поднявшийся с полу, стоял красный, совсем растерянный. Косые добрые глаза его моргали, как бы собираясь плакать. Огненный чернец глядел на него с любовью и грустью. Черная братия тискалась вперед, чтобы ближе рассмотреть «подвижничка». В трапезе становилось неизобразимо жарко.

Когда Спиря рознял поясной обруч на пришельце, под обручем оказался узкий, уже обруча, кожаный пояс. Спиря вопросительно посмотрел на своего гостя.

– Чик-чик? – спросил он.

– Чик-чик, – ответил тот, улыбаясь.

Спиря бросился к столу и достал из него нож.

– Тут чикать? – спросил он, указывая на живот.

– Тут, – был ответ.

Пояс разрезан и снят. В нем оказалась завернутою шая, узкая, сложенная вчетверо полоска бумаги. Спиря развернул ее.

– Ишь как намелил протопоп, – проворчал он, – мачком обсыпал бумажку.

* * *

Никанор дрожащею рукою взял бумагу. Геронтий подвинулся к нему, протягивая руку.

– Соборне вычесьть? – нерешительно спросил Никанор огненного чернеца.

– Соборне, – отвечал тот, надевая на себя опять власяницу и полукафтанье.

– Благословись, отец.

Никанор подал бумагу Геронтию. Геронтий перекрестился, а за ним руки всего черного собора поднялись ко лбам да на плечи. Спиря сел на полу и стал кормить своих голубей.

– «...Всем нашим горемыкам миленьким на Соловках, – начал Геронтий, – протопоп Аввакум, раб и посланник Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, благодать вам, отцы и братия, и чада, и сестры, и дщери, и сущие младенцы. Прослышал я здесь, сидя на чеши в земляной яме, что вы, яко подобает воинам Христовым, ратоборствуете добре супротив проклятых никониан. Честь вам и слава, стрельцы Христовы! И Никанорушка, свет архимандрит, осквернив руку свою и душу троеперстием, нынечу кровию омывает пятно то с души своей. Спасибо, свет Никанорушка!»

...Куда девалась бледность архимандрита! Он стоял багровый, а из-под седых нависших бровей текли слезы и разбивались в брызги о перламутровые четки.

– «...Хвала тебе, воеводушка и стратиг правоверия! Похвала всем вам, стрельцы божьи в клобуках, и вам, сотнички добрые, и ратные люди, и миряне! Обнимаю вас всех о Христе, длинны су руке мои: всю Русь правоверную обнимаю, яко невесту богоданную».

И Исачко стоял красный как рак.

– Исакушка, слышишь? – прошептал Спирия.

– Нишкни, друг, – отмахнулся тот.

– «...Молю всех вас, страждущих о Христе, кричу к вам из ямы моей, из сени смертной, руке мои простираю к вам из земли, из живой могилы, в ню же ввергоша меня сатанины сыны, молю с воплем и кричанием, откликнитесь, светы мои миленькие: еще ли вы дышите или уже сожгли вас, что лучину Христову, или передавили, или в студеное море, что шенят, перетопили? Нету чу? Дай-то Бог. А коли нету, именем Божиим заклинаю вас: претерпим зде мало от никониан, претерпим и кнут, и огонь, и костей ломание, претерпим миг един смертный, яко молния краткий, да Бога вечно возвеселим и с Ним вместе возрадуемся. Ныне бо в зеркале гадания, тамо же, за гробовой доской, за костром, за виселицей, лицом к лицу Его, света нашего, узрим. Ныне нам от никониан огонь и дрова, земля и топор, нож и виселица, могила без савана, похороны без ладану; вместо пения „плачу и рыдаю“ кричание и рыдание секомых и пытаемых, вопление жен и детей, гугнение урезанных языков; там же ангельские песни и славословие, хвала и радость, и честь, и вечное ликование в царских венцах. Яра ныне зима, ох яра, студена, но сладок тамо и тепел рай; болезненно терпение, но блаженно восприятие. Того для да не смущается сердце ваше: и я здесь, миленькие мои светы, в земле скачу и ликую, что собачка на цепи: близко венец царский, вот-вот рукою достаю. Так-то, светы. Всяк верный не развешивай ушей, не раздумывайся, гляди со дерзновением во огонь, в воду, в яму глубокую, против ядра и пищали, иди и ликуй, и скачи: под венец идешь, на царство. И его-то, нашего батюшку-царя, тишайшего миленького света, нашего „свете тихий“, они, сатанины сыны, смутили. Да добро! Его сердце в руке Божией: сам Бог ему персты сложит истово и светлы оченьки ему откроет. Любо мне, радостно, светики мои, что вы охаете: „Ох! Ох! Ох! Как спастися? Искушение прииде!“ Чаю су ох, да ладно так, ладнехонько: а вы, светы, меньше спите, убуждайте друг друга, вас много, кричите до Бога, услышит за тридевять земель, увидит за синими морями за окиянами: у Него чу очи не наши, всевидящи. А я играю, в земле сидя, что сурок зимой, плещу руками, звеню цепями, то гусли мои звончатые, аки райская птичка веселюсь, а меня едят вши, добро! Пускай их! Меньше червям останется. Пускай, реку, диавол от сосуды своими погоняет от долу грязного сего к горнему жилищу и в вечное блаженство рабов Христовых. Идите же ко Христу, светы мои. Приношу вас и себя в жертву Богу живу и истинну. Богу животворящу мертвья и сожженные в золу. Сам по Нем аз умираю и вам того желаю. Станем же добре, станем твердо. Аще не ныне – умрем же всяко, а из нас, что из зерна горушна, вырастут тьмы тем. Помяните первых христиан. Ныне что! Ныне игралище, шутки, широкая масленица нам: нас жгут и вешают в одиночку, а тогда, светы, посекали секирами во главу по сорока тысяч, топили в озерах по полутретьи до четверти тысяч, жгли без числа, что лес. А что взяли! Из двенадцати апостол стали тьмы тем верующих. Тако и из нас. Сожгут одного из нас, что золы-то выйдет! А та зола, светы мои, семя новое: сколько золинок, праху сего от сожжен-

ного тела, пустят по свету, столько новых верных вырастет из тех малых золинок. Отрубили у кого голову, ино та голова зерном стала, и отродится то зерно из могилы сам-сот, сам-тысяч: ни едина рожь так не родит, ни ячмень, как голова мученика. Это верно, други. Посеки один дуб, ан сто дубков пойдет от корня. Так-ту! Вон меня еще не посекали, аз еще расту, старый дуб, а из меня уж вырос во какой молодой дубок. Терентьюшко млад, что к вам сие мое писание принесет, коли Господь сподобит. А был он стрелец московский, караульщик мой, и замкнуты мы с ним здесь в Пустозерске, что собаки на одной цепи, в яме жили, да Христос среди нас. А теперя-на! Как познал прелесть света и мое тюремное веселие, из тюремщика сынком мне миленьким стал».

– И-и! Хитер су, вор Терешка! – дергал Спирия Исачка за полу, показывая на огненного чернеца.

– А что он? – удивился Исачко.

– Вон приковал себя ко Христу веригами, ну и любо ему со Христом-ту.

– Уж и подлинно, ах!

– «...Стойте же, светы, не покоряйтесь да страха ради никонианска не впадете в напасть, – читал Геронтий. – Иуда апостол был, да сребролюбия ради ко диаволу попал, а сам диавол на небе был, да высокоумия ради во ад угодил, Адам в раю жил, да сластолюбия ради огненным мечом изгнан и пять тысяч пятьсот лет горячу сковороду лизал. Помните сие и стойте, светы: держитесь, крепко держитесь за Христовы ноги да за Богородицыны онучки. Они, светы, не выдадут. Аминь».

Голос Геронтия смолк. Сотни грудей, долго не дышавших от внимания, теперь дохнули ветром.

– Аминь! Аминь! – застонала трапеза.

– Будем стоять! Будем держаться за Христовы ноги да за Богородицыны онучки.

– Добре! Добре! Любо! Умрем за крест, за два перста!

– Потерпим за сугубую аллилуйюшку-матушку! Постраждем!

Голоса смешались словно на базаре. Слышалось – и «за Богородушку», и «за аллилуйюшку», и «персточки-перстики родимы...».

– А за батюшку «аза»! Ох, за света «аза» постоим! – перебил всех голос юродивого.

Многие смотрели на него вопросительно, не зная, о каком «азе» говорит он.

– Не дадим им «аза»! – повторял юродивый.

– Какого аза? – обратились некоторые к архимандриту.

– А в «верую», – отвечал тот. – В «верую во единого Бога» там сказано: «и в Господа нашего Иуса Христа, рожденна не сотворенна»... А никонианцы этот самый «аз»-от и похерили, украли целый «аз»...

– Батюшки! «Аз» украли! Окаянные!

– Так, так, братия, – подтверждал Никанор, – велика зело сила в сем «аз» сокровенна: недаром в букваре говорится «аз ангел ангельский, архангел архангельский...»

– Ай-ай-ай! И они, злодеи, украли его, батюшку?

– Украли, точно злодеи.

Послание Аввакума внесло такую страстность в это черное соборище, что все готовы были сейчас же идти в огонь, на самые страшные муки. Страдания, и притом самые нечеловеческие, стали для этой нафанатизированной толпы высочайшим идеалом, к которому следовало идти неуклонно, мало того – не идти только, а бежать, рваться со всем безумием мрачного ослепления. На Никанора послание это подействовало, как бич на боевого коня и как елей на старые трущиеся в душе раны. Аввакум, мнения которого он трепетал после публичного отречения от двуперстия, Аввакум, ставший центром и светочем борьбы за старые начала, выразителем силы, ей же имя легион и тьмы тем, этот Аввакум шлет ему привет и хвалу, бросает и на

него луч своей мрачной славы. Исачко-сотник, необыкновенно впечатлительное и страстное дитя природы, тоже вспыхнул, как порох, от послания Аввакума.

А тут еще этот огненный Терентьюшко в потрясающих душу веригах, Терентьюшко – бывший стрелец, тюремщик и мучитель Аввакума – какие ужасы он сообщил!

Для большего нравственного и физического истязания Аввакума в Пустозерске, где его засадили в глубокую, сырую и холодную земляную яму, к нему приковали его сторожа-тюремщика, этого самого стрельца Терентия, с тем расчетом, чтобы тюремщик был всегда при арестанте, а в случае если арестант совратит и его, то чтобы все-таки они оба были на цепи и не могли бежать. Но когда увидели, что Аввакум действительно совратил Терентия и этот тюремщик стал молиться на своего колодника, то Терентьюшку сослали в Обдорск, а к Аввакуму приковали бесноватого... Терентьюшко бежал из Обдорска и стал подвижником, заковал себя в железо.

Когда наконец черный собор несколько поуспокоился, Никанор стал держать речь.

– Так будем же, отцы и братия, сидеть крепко. Бог даст, отсидимся. А не отсидимся, ино теперь же, загодя, посхимимся все: как приспеет час итить ко Христу-свету от сего временного жития, так пойдем в путь-от во схимах. Эка радость будет Христу, как придет к Нему наша черная рать, не махонька ратеюшка придет к Нему черных стрельцов...

– А с мирянами, отец, что нам делать, с богомолами? Вишь, их тоже рать не махонька у нас, – заметил отец городничий Протасий. – Ртов-ту немало, а кормить их чем будем? Вон злодеи все наши запасы пожгли на острове: только то и осталось на прокорм, что в стенах.

– Мирянам вольно итить, мы их выпустим из монастыря, – отвечал Никанор.

– А как бы им воинские люди какого дурна не учинили.

– Для чего дурно чинить? Миряне не мы. Да и то сказать: вон немец галанский Каролус Каролусович онома дни сказывал мне, что ему ноне здесь делать нечего стало и он хочет ехать домой в Архангельской, да с ними аглицкая немка Амалея Личардовна Прострелова собирается тож к себе в Архангельской. «А у нас-деи, говорит, у иноземных людей, есть проезжие грамоты, так нас-деи, говорит, государевы ратные люди пальцем не тронут». Так с ними вот мы и мирян отпустим, пуцай едут кочами на Сумской либо на Кемский посад, либо через Анзерский скитец, кому какая дорога.

– А кто ж их морем перевезет?

– На то вожи есть, а то и стрельцы кочами переволокут кого Христа ради, кого за деньги.

– А то и кемляне перетаскают, что приезжали по твоей архимандричий суд, – заметил своим обычным басом отец Геронтий.

– И то дело, коли их кочей злодеи не сожгли.

По-видимому, один Спирия не принимал никакого участия в суждениях собора: он сидел в углу на полу и кормил изо рта своих голубят, которые, трепыхаясь хорошенькими, неуклюжими, еще не обросшими пером крылышками, жадно совали юродивому в рот свои пушистые головки по самую шейку.

Вдруг что-то глухо грянуло и как бы покатилося по воздуху. То был пушечный выстрел. Исачко и Самко стремглав бросились из трапезы, оставив черную братию в торопливом смятении.

VI. ОЛЕНУШКА В РАЮ

- Кто тут?
- Это я, матушка, Спирька-дурак.
- Все сидишь?
- Сижу, плачу... А все, видно, слезы мои не прокапали еще землю насквозь.
- О-хо-хо! Охте мне!
- Что она, голубица-то чистая?
- Забылась мало.
- Не бредила?
- Ноне нету, милый.
- А тебя спознает?
- Спознавала... А долго металась в огне.
- А как теперь огонь, матушка?
- Кажись, легче, голова взопрела.
- Слава Богу!.. А ты, мать, опочи мало, ты сама ни на что свелась, а я посижу за ней, помолюсь.
- Спасибо, милый, только тише будь.
- Ладно... аером не шелохну...

Это Спиря с Неупокоюхой. У нее тяжко занемогла огневицей дочка Оленушка. Так неведомо с чего спалил ее огонь: была здоровехонька, все рвалась домой, в Архангельск, а в ночь, перед тем как на черном соборе порешили всех богомоллов мирян отправить из монастыря, она и слегла, впала в претяжкий огонь. Думали и то, и се: не то с глазу ей приключилось нездоровье, с нехорошего глазу, не то наслано злою думою да лихим помыслом; не то так от Бога, его святая воля. Все миряне покинули монастырь, остались одни Неупокоевы. Весь монастырь, вся братия скорбели об Оленушке: так полюбилась одиноким отшельникам скромная, тихая, щедрая на подавание и братии, и бедным богомольцам юная отроковица. Каждый смотрел на нее как на свою дочку или на внучку, и при виде ее под каждым черным клобуком роем проходили воспоминания из той, как бы замогильной мирской жизни, и под каждой черной рясой сжималось и саднило глухой болью или распускалось теплотой очерствевшее в отшельничестве сердце. Несмотря на тревоги и гнет осадного положения обители, несмотря на заботы о своем собственном спасении, никто не мог забыть болящей отроковицы, и во время продолжительных церковных литургисаний, навечерий и ночных бдений, прерываемых нередко грохотом пальбы, в молитвах о спасении обители святой и своих грешных душ, и всех правоправящих слово Божие и истовое перстное сложение, бесстрастные ко всему мирскому губы иноков часто шептали имя рабы Божьей, болящей отроковицы Олены. Девять дней чистая душенька ее висела между жизнью и смертью, и каждую ночь, казалось, смерть, бродя по пустынному острову, тихо прокрадывалась в больничную келью, где металась в огне Оленушка, и заносила над пышущей огнем молоденькой головкой свою невидимую, но неотразимую косу.

Но больше всех сокрушался о больной Спиря. Целые дни он не отходил от порога кельи, где лежала Оленушка, а ночи почти напролет молился у нее под окном, кладя поклоны тысячами и постоянно плача. Он даже забывал иногда о своих голубятах, которые жалобно пищали, ожидая, чтобы кто-нибудь покормил их. Болезнь Оленушки напоминала юродивому что-то из его собственной жизни, что-то очень далекое, что почему-то роковым образом связано было с человеческим черепом, который он носил в своей сумке вместе с зернами для голубят... «Она, она самая! – шептал он со стоном. – О-ох, тяжело!» Неупокоюха так извелась, ходя за больной дочерью, что падала в изнеможении, и в это время на подмогу ей являлся юродивый: он ухаживал за ней, как за сестрой или матерью, и незаметно от роли дворовой собаки у порога перешел

к роли сиделки у больной. Оленушка в короткие часы возврата к ней сознания видела около себя косматую, как у собаки, голову юродивого и добрые, как у собаки же, глаза и привыкла к нему, словно бы он был необходимой принадлежностью ее новой жизни, в которую, как грезились больной, она была перенесена этим именно косматым с собачьими глазами человеком. Только одного она не могла понять, куда он перенес ее: в рай или в ад. Иногда, казалось, она чувствовала себя в раю: слышала как будто райские гласы какие, невидимое пение и ощущала своим жарким лицом, как ангелы тихонько над ней крылышками помахивали, а когда открывала глаза, то райские видения пропадали, а вместо ангелов она видела только Спирию, который махал над нею зеленой веткою. Иногда же грезились ей, что она в аду мучается, что палит ее внутренности и голову геенна огненная и кругом нее раскаленный воздух, словно адская печь, пожирает ее. Пылавшая огнем голова ее только тогда ощущала что-то невыразимо приятное, когда ко лбу, к темени и к вискам прикладывалось что-то холодное, и когда больная открывала глаза, то смутно видела чью-то руку и большой серебряный крест, прикасавшийся к ее вискам и лбу и охлаждавший горячую голову.

– Аером не шелохну, – шептал Спирия, подходя к кровати, на которой лежала больная.

Северная летняя ночь была светла как день, потерявший свое солнце, которое, казалось, не заходило ни за горизонт, ни за тучку и не бросало сумрачных теней ни от домов на землю, ни от деревьев на зелень и цветы, ни от людей на их собственные лица, а казалось, было тут где-то близко, только не видать его диска и не слышно тепла и жару от его лучей. В келье, где лежала Оленушка, было полусветло, полумрачно, без теней и без наглого света, только полусвет. Полумрак этот придавал необыкновенную мягкость и воздушность очертаниям молодого тела, на которое слегка наброшено было белое полотно, доходившее от ног до пояса, выше которого сложены были белые худенькие ручки с отвернувшимися по локоть рукавами сорочки. Несколько спустившаяся сорочка прикрывала груди, которые вырисовывались из-под полотна острыми конусиками, и открывала белую круглую шею до возгорля. Голова больной словно бы брошена была на подушку, и бледное, совсем с детским выражением личико казалось спокойно спящим. Длинные ресницы, бросая слабые тени на щеки, далеко отошли от высоко вскинутых дугами бровей. Русые, сбившиеся прядями волосы оттеняли прекрасное, спокойное личико от белой подушки.

Юродивый ступал неслышно своими босыми ногами, как кошка к мышинной норе, издали перекрестил спящую, приблизился к самой постели и еще неслышнее приподнял покрывало с тела больной и прикрыл им всю ее до самой шеи. Девушка продолжала спать, дыша ровно и спокойно. Юродивый, казалось, боялся взглянуть ей в лицо и опустил на колени на пол. Напряженно глядя куда-то вдаль, словно бы сквозь потолок и стены, он созерцал невидимые, но ему доступные предметы или видения и беззвучно шевелил губами. На изрытом морщинами лице его выразилось такое скорбное и страстное моление, что, казалось, вся душа его трепетала и рвалась из тела туда, куда неслась его мысль. Вот-вот, казалось, закричит он от боли или грохнется об пол как бесноватый. Но вдруг он заплакал и, замотав косматую голову, припал лицом к полу. Долго лежал он так...

«...Тивик! Тивик! Ти-и-вик!» – под окном противикала ласточка.

Спящая открыла глаза и не шевелилась. Ласточка опять тивикнула. В келейное окошко глядели зеленые ветви ели. Девушка, не шевелясь, казалось, припоминала что-то. В глазах ее не виделось ничего горячечного, они смотрели ясно и спокойно. Скоро девушка увидела распростертого на полу юродивого и повернула к нему голову. Тот поднял заплаканное, изумленное, радостное лицо и широко перекрестил больную.

– Как хорошо мне... Легко таково, – прошептала девушка.

– Слава Богу! Слава Богу! – радостно дрожа, так же тихо проговорил юродивый.

Девушка помолчала. Она оглядела потолок, стены, как бы первый раз видя все это. По полу разбросана была свежая трава с незавядшими еще цветами, и у стены стояли зеленые ветки, как на Троицу.

– Это я в раю? – робко спросила больная.

– Да, твоя чистая душенька в раю, дитяtko, – так же робко отвечал юродивый.

Девушка задумалась. Потом снова стала осматриваться.

– Как хорошо тут.

Она помолчала и в недоумении посмотрела на юродивого. Тот с любовью глядел на нее.

– А где же ангелы? – спросила она все так же тихо и робко.

– Ангелы Божьи, дитяtko, над тобой витают.

Она осмотрелась.

– Я не вижу их, дедушка.

Тот молчал, тихо молясь.

– А яблочки золотеньки?

– Пожди мало, дитяtko, увидишь.

– И святых увижу?

– Увидишь, увидишь.

«Ти-вик... ти-вик», – за окном.

– Это касатушка?

– Касатушка, милая.

Девушка снова огляделась. Она искала кого-то.

– А матушка где? – спросила она, как бы только теперь вспомнив это.

– Она тут, милая, опочить легла маленько... Пожди мало, придет.

Опять молчание. Только ласточка за окном тивикает.

– Как хорошо... таково хорошо мне... ничто не болит.

Девушка ощупала голову и села на постели, натянув простыню на плечи. Волосы пасмами падали на простыню.

– Как стыдно... нечесаная...

– Ничего, дитяtko, матушка причешет.

Оленушка утерла простыней влажное лицо и откинула назад волосы.

– Дедушка, я хочу испить, кисленького. – Юродивый метнулся в передний угол, где на столе стояли глиняные кружки. Он взял одну, открыл крышку, перекрестил посудину и поднес к больной. Та тоже перекрестилась, левою рукою придерживая простыню, и стала пить. Когда она пила, юродивый крестил ее голову.

– Спасибо, дедушка.

– Будь здорова, миленькая.

Юродивый поставил кружку на прежнее место и радостными благодарными глазами взглянул на образа. Девушка, казалось, опять что-то хотела спросить, но не решалась. Она поглядела в глаза юродивому.

– А Бога я увижу в раю? – чуть слышно спросила она.

– Увидишь, миленькая, увидишь... Я уж вижу Его...

Оленушка испуганно оглянулась в передний угол, надергивая на себя простыню.

– Где, где, дедушка? – шептала она.

– Он везде... Он тут...

– Господи! Помилуй меня!

– Молись, дитяtko, молись, чистая.

Проснулись и воробьи – зачирикали за окном. Оленушка все более, казалось, приходила в себя.

– Утро... А что монастырь, дедушка?

– Слава Богу, невредим молитвами угодничков Зосимы-Савватия.

Оленушка еще что-то припомнила.

– А наш город, Архангельской, что, дедушка? Где он?

Юродивый не знал, что отвечать.

– Где Архангельской? – повторяла больная.

– Далек он, милая.

– А Боря где?

– Кто, дитячко?

– Боря... Мой суженый...

Юродивый стоял растерянный и испуганно глядел на девушку. Она, казалось, вспомнила что-то и, закрыв лицо руками, горько заплакала.

– Что, что с тобой, родная? – хватая ее за руку, спрашивал Спирия.

– О-о-о! Я не хочу, не хочу... коли нет Бори... Господи! О-о!

– Дитячко! Не плачь, Христа ради не плачь... Боря тоже во раю... Святители!

Оленушка ничего не слыхала. Она безутешно плакала.

VII. СТРЕЛЬЦЫ ГУЛЯЮТ

Проходили месяцы. Осада монастыря продолжалась по-прежнему безуспешно: сидение осажденных было, по-видимому, крепко; а осаждавшие что ни делали, все было бесполезно. Стрельцы рыли рвы, насыпали валы, под прикрытием которых, словно кроты, подбирались к монастырским стенам; но стен взять было невозможно: первое дело – слишком толсты и высоки, а лестниц приставить к ним нельзя, потому что монастырские ратные люди, как белые, так и черные, стреляли метко, с прицелом, а если и не стреляли, то могли засыпать камнем наступающих.

Хотя у Мещеринова были и стенобитные орудия, тараны могучие, с могучими железными головами и стержнями на цепях и крепких устоях, но Исачко и Самко своими «пушечками» шагу им не давали. Только выведут стрельцы городки, только укроют за ними стеноломы, чтобы под прикрытием городков двинуть стеноломы далее, как Исачко и Самко уж гвоздят по городкам, разбивают венцы и звенья, пугают и калечат стрельцов, и стрельцы опять назад прут тяжелые тараны, опять надо начинать сызнова. А Исачко, отгромив приступ да пропев с чернецами «бранному воеводе», усядется себе на стене, свесив ноги к стрельцам, и машет себе, помахивает шитой ширинкой, выпугивая из-под башенного карниза своего любимого голубя, белого турмана «в штанцах», и любуясь на его удивительные проделки... «Уж и аховая птичка!» – радуется он, глядя на голубя. А за ним радуются и старцы, покончив с «бранным воеводой» и глядя на ушедших к своим кочам врагов. «Божья птичка, что и говорить! Не диви, что и духот Божий во образе голубя явился, чистая, незлобивая птичина, что младенец незлобива».

А стрельцы уж начинают скучать, злятся... «Их, долгогривых, и сам черт не добудет: что тараканы в щели прячутся...» Стали поговаривать, что лучше бы в Сумской воротиться, а то в Москву, к домам, чем попусту норы рыть волчьи да вонючую треску жрать без соли, без хлеба. Стали и о женах скучать, о детях. «Али мы нехристи либо чернецы, что ни жен, ни баб нам не дают понюхать? Мыслимо ли дело без бабьятины прожить мужику?»

Воевода видел это и стал побаиваться, как бы не вышло чего. Поэтому, когда стрельцы с воевода своих сотников или полуголовы ездили по праздникам в Кемский посад и привозили оттуда баб, воевода смотрел на это сквозь пальцы.

* * *

На Память мучеников Маккавеев, 1 августа, стрельцы особенно разгулялись. Утром многие из них ездили в посад, послушали, как попик Вавилко обеденку литургисал и за них, за государево христоролюбивое воинство, молился, а воеводе благословенный хлебец-просвирку поднес величиной с шапку.

День Маккавеев выдался теплый, ясный, тихий. На небе стояли курчавые, как белые барашки, облачка, но они не мешали солнцу поливать светом и зелень острова, кое-где изрытую рвами, и темный лес, по которому осень уже брызнула пятнами свою яркую желтизну, и стены монастыря, по которым постоянно сновали черные точки, а иногда поблескивал ружейный ствол у часового или крест на четках у старца.

Стрельцы большею частью сидели кругами на траве и угощались зеленым вином и медами. Тут же виднелись и бабы «прелестницы». Пир шел горой, с полухмеля переходя в полный хмель. Стрелец, бывший когда-то у Стеньки Разина водоливом, царапнул по струнам гуслей и пошел вприсядку, выгаркивая, словно бесноватый:

Ах вы, гусли мои...

Полногрудая баба-кемлянка, быстро схватившись с травы, выпрямилась и топталась на месте, подвизгивая:

*Уж любо-любо-лю,
Что плечиком шевелит.
Что икрами семенит,
Молодушкы полюблю,
Что бедрами говорит.*

И она действительно говорила бедрами и семенила жирными икрами на толстых ногах.

– Любо! Любо! Ай да Маша!

– Наддай еще! С прищипом! С прищипом! – подзадоривал Кирша.

Гусельник «наддал с прищипом», баба привизгивала, словно кликушка:

*Ихи-хи! Ихи-хи!
Ихихушки – ихи-хи!
Пошла баба в три ноги, в три ноги.
А золовки-колотовки
И кутят, и мутят.
Деверья-то кобелья
По подлавочью лежат,
По-собачью визжат.
А свекровь на печи,
Бытто сука на цепи.
А и свекор на палати,
Бытто кобель на канате.
Ихи-хи! Ихи-хи!
Ихихушки – ихи-хи!*

Баба плясала с большим искусством и воодушевлением, хотя самые движения ее не были порывисты, а, напротив – плавны до медленности. Зато отдельные части ее тела и мускулы трепетали страстью и истомой. Стоя на месте, как бы с прикипевшими к земле ногами, она плавно поводила и вздергивала плечами в такт захлебывающейся музыке, и при этом полные груди ее дрожали и колотились об рубаху, как бы силясь прорвать ее и выпрыгнуть из пазухи.

– Ах, ячменна!.. – невольно вырвалось было у старенького чернеца, проходившего мимо, совсем не чернецкое восклицание.

– А! На мокрое наступил?.. – засмеялся ему вслед Кирша.

Другая бабенка, подзадоренная первой, сорвалась с места, как ошпаренная кипятком, и, взявшись левой рукой в боки, а правую скорчив коромыслом, засеменяла ногами и зачастила визгливым голосом:

*У стрельчихи молодой
Собирался коровой;
И Семитка пришел,
И Микитка пришел.
И Зажарка пришел,
И Макарка пришел...*

А гусельник, став против бабы и вывертывая ногами, защищал на гусях:

*И Овдотьюшка пришла,
И Варварушка пришла,
И Оленушка пришла.
И Хавроньюшка пришла —
Поросенок привела...*

От другого круга садил вприсядку к этому кругу седобородый казак и гудел, как шершень:

*Трррунды, баба, трррунды, дед.
Ни алтына денег нет!*

Откуда-то выскочила третья молодуха и зачастила:

*Да-а-арья! Да-а-арья!
Дарья, Маланья,
Степанида, Солмонида,
На улицу выходила.
Короводы заводила!
Да-а-арья!..*

– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, а я пришел! – раздался вдруг твердый и трезвый голос.

Все оглянулись. У ближайшего куста стоял чернец. Из-под скуфейки его падали на плечи недлинные огненные волосы. Плясуны и плясавицы остановились как вкопанные, так и прикипели на месте. Чернец, позвякивая железами, подошел к кругу.

– Здравствуй, Кирша, – сказал он угрюмо, – хорошо ли дьяволу служить?

– Турвонко! Ты ли это? – изумленно воскликнул Кирша и вскочил на ноги.

– Был Турвонт, а теперь старец Теренька, – отвечал чернец с огненными волосами.

– Турвонко, а и впрямь, братцы, Турвонт! Ай-ай! – закричали многие из стрельцов.

– Что с ним? Посхимился? Вот притча!

Все обступили пришельца, глядели на него, как на выходца с того света.

Бабы боязливо жались, держась в сторонке.

– Хорошо ли дьяволу служите, стрельцы? – повторил свой вопрос огненный чернец, глядя на своих бывших товарищей.

– Гуляем, братец, что ж! Ноне праздник, первый Спас, – как бы оправдывался Кирша пьяноватым голосом. – Спас на дворе, и гуляем.

– Хорошо спасенье...

– Чем дурно? Выпей и ты.

– А святую обитель разорять, коли и это хорошо? – спросил чернец, оглядываясь на монастырь.

– Мы их не разоряем, – оправдывался Кирша. – Вольно ж им великому государю грубить!

– А в чем их грубство?

– Молиться не хотят по новине.

– А! Так это у вас грубство? А сам ты по новине молишься?

Кирша замаялся. Он сам чувствовал, что никак не может совладать с этой новинкой: как забудется только на «Отче наше» либо на «Богородице», так у него два середине перста-то и

топырятся вперед, а большой палец сам книзу гнется... «Тьфу ты лядина!» – так, бывало, и плюнет с досады.

– Да как это ты, Турвонушко, чернецом стал? – спросил он, не отвечая на вопрос рыжего. – И как тебя сюда занесло? Вить ты повез с Москвы в Пустозерск протопота Аввакума.

– Повез, был грех. А он ноне сам меня, светик, на себе к спасенью везет, – отвечал рыжий.

Стрельцы, видимо, поражены были внушительной наружностью своего прежнего товарища и однокорытника. Вериги заметно звенели на нем, хотя глухо, при каждом движении, словно на цепной собаке. На лице и в особенности в глазах виделось что-то такое новое и страшное, что делало его совершенно другим человеком, человеком не от мира сего, не жильцом на свете.

Пир разрушен был, не пировалось как-то при виде этого выходца из другого мира: необычайная воля, проявляющаяся в человеке в той или иной форме, неотразимо действует на других, покоряет их, заставляя цепенеть их волю и совесть. Всякому кажется, что это он за него сделал, и это сознание свербит на совести, саднит болью и ноет на сердце... «Это он за меня, за всех нас...»

– Послушайте, стрельцы! Слушайте, православные! – начал огненный чернец, окидывая всех своими горячими глазами. – Вас обманом привели сюда. Статочное ли дело, монастырь разорять, да еще какой монастырь! Первый на Руси, которого нет святее во всем Московском государстве. Коли бы вы пошли на Троицу-Сергия, коли бы вас повели на него? А?

Стрельцы молчали, испуганно поглядывая друг на друга.

– Сказывайте: пошли бы?

– Нет, не пошли бы, – робко отвечали некоторые.

– Все это дело Никона, – продолжал чернец, – он смуту чинит во всей земле, он обвел колдовством великого государя. Да ведомо ли государю, что вы здесь добиваете святую обитель? (И он указал на церкви, глядевшие из-за стен монастыря: стрельцы испуганно оглянулись на них.) И вы стреляете по крестам! Вы по Богородице ядрами мечете. Али вы бусурмане? Али на вас креста нету?

Стрельцы, казалось, не смели глаз поднять. Страстная речь бывшего товарища смущала их, а пьяная совесть оказалась еще более податливой. Всем стало стыдно. Иные из них готовы были заплакать, как плачут пьяные: не сам плачет человек, а вино, размягчившее его.

– Что вы смотрите на воеводу? – продолжал страшный чернец. – Он заодно с Никоном... Свяжите его, злодея, да и по домам...

– Меня... связать? – раздался вдруг всем знакомый голос.

Стрельцы окаменели. Это был сам воевода. Он вошел в круг, бледный, с трясущимися губами, но твердой поступью. Рука его держалась за рукоятку сабли. Стрельцы расступились, как трава от ветру.

– Га! – захрипел воевода. – Вон они что затеяли! Воеводу вязать!.. Ты кто таков, сказывай! – накинулся он на чернеца. – Сказывай, каков человек?

– Сам видишь, – спокойно отвечал чернец.

– Имя сказывай. Именем кто?

– Мое имя у Бога записано, не прочтешь.

– А! Знаю! Ты из этой волчьей ямы. – И воевода указал на монастырь. – Почто пришел сюда? За каким дурном?

– За твоей головой.

Воевода порывисто выхватил саблю из ножен и замахнулся на огненную голову.

– Вот я тебя, вора!.. Взять его!

Стрельцы испуганно топтались на месте, но не двигались вперед.

– Вам говорю! Вяжите вора!

То же топтанье на месте. Воевода оглядел толпу, и глаза его остановились на Кирше, который стоял понуря голову и тяжело дышал.

– Кирша! Возьми его, вора.

Кирша нерешительно сделал шаг вперед.

– Что меня брать? Я сам пришел, – сказал чернец, – свою волею пришел, так не боюсь тебя.

Этот ответ озадачил воеводу. Действительно, человек сам пришел, не побоялся ни стрельцов, ни его. Тут что-нибудь да не так. Воевода задумался.

– Так чего ж тебе надобно? – спросил он наконец.

– Того, чего у тебя нет, а ты дать можешь, – был ответ.

Воевода не понимал этого загадочного ответа.

– Чего у меня нету и что я могу дать? – переспросил он.

– Воистину так.

– Что ж это такое, чего у меня нету и что я могу дать?

– Венец.

– Венец? Какой венец?

– Нетленный.

Воевода отступил назад. Стрельцы невольно переглянулись. Воевода чутьем угадывал, по порывистому дыханию стрельцов, которое слышно было, чувствовал, что власть ускользает из его рук. Чего доброго, стрельцы свяжут его и головою выдадут мятежникам, а то и сами расправятся. Ему казалось, что он стоит на льду среди глубокого озера, и тонкий лед гнется и хрустит, зловеще кракает под ногами. Надо скорее сойти с опасного места, хоть ползком: надо во что бы то ни стало выйти из этого острого положения.

– Я пришел сюда по указу великого государя, его царского величества! – громко сказал он, оглядывая всю толпу и подходя к чернецу все с тою же обнаженной саблею.

– Его царское величество не указывал разорять монастырей, – так же громко перебил его чернец.

– Молчать, вор! – закричал воевода, подымая саблю.

– Вор тот, кто монастыри разоряет... Его царское величество не указывал тремя персты креститься.

– Врешь, его царское величество указал, и освященный собор приговорил.

Чернец повел своими горячими глазами по толпе.

– Не слушайте его, православные! – закричал он. – Он говорит затейно... Вот как креститесь!

И он высоко поднял руку, выставив торчком два пальца, а остальные пригнул. Между стрельцами произошло движение.

– Вот так, вот так! Православные? – истово кричал фанатик.

– Вот же тебе как, н-на!

Сабля блеснула в воздухе, и к ногам стрельцов что-то упало. То были все пять пальцев фанатика, отрубленные саблей по самые последние суставы, у связей с ладонью. Стрельцы с ужасом отшатнулись.

Фанатик не поморщился. Он нагнулся, поднял с земли левою рукою два отрубленных пальца, указательный и средний, и истово перекрестился левою рукою.

– Благодарю тя, Господи, яко сподобил мя Еси один листочек нетленного венца получитьи, – сказал он, подымая глаза к голубому небу, на котором стояли курчавые, как белые овцы, облачка.

Кровь ручьем лила из перерубленной руки, но он сунул за пазуху два отрубленных пальца, улыбнулся...

– А тех трех перстов мне не надобет, – сказал он и повернулся к воеводе.

Воевода, бледный, с остоячившимися глазами, стоял в раздумье с поднятою саблею: рубить или не рубить по огненной голове?..

VIII. СОЛОВЕЦКИЕ СВЯТКИ

Время шло. Скучное северное лето, с его бесконечными днями, почти целые сутки освещаемыми незаходящим солнцем, и с его белоглазыми, надоедливими ночами, сменилось еще более скучною, хмурою и мертвою зимою с ее такими же мертвыми, бесконечными ночами, освещаемыми иногда от полуночи страшными «сплохами», встающими от северного горизонта длинными, с переливающимися яркими лучами снопами света, которыми северное сияние как бы вознаграждает северную мрачную и бесконечную ночь за ее мрак и бесконечность, за малость северного дня и за скудость и безжизненность северного солнца. Весь остров завернулся в белый саван, как покойник на льдине Ледовитого океана. Зловещее море кругом на необъятное пространство, туман и мрак или ветер с пургой и ледящий холод, деревья, утопнувшие в инее, мрачные, заиндедевские стены монастыря – все это до боли бесприветно и безотраднo.

К зиме покинули остров и осаждавшие обитель ратные люди. Осада шла вяло, неохотно, недружно, а осажденные защищались стойко, упрямо. Воевода сам видел, что после неожиданного появления в его стане огненного чернеца, которому он отрубил пальцы на правой руке, а потом, забив в колодки, отправил под караулом в Сумской, что после этого неожиданного явления стрельцы потеряли и бодрость духа, и упорство в добывании мятежной обители. Думая, что, проведя зиму в Сумском, они к весне опять будут способны с прежнею отвагой пойти на монастырь, он велел уничтожить все построенные для осады монастырских стен городки, разорить осадные укрепления и подкопы и переехал на зимовку в Сумской. Но чтобы монастырь и весь остров продолжали оставаться в осаде и чтобы осажденные мятежники не имели возможности сноситься с землею и пополнять свои запасы продовольствия, а равно боевые снаряды, одним словом, чтобы довести монастырь до безвыходного положения, воевода поставил заставы во всех главных пунктах, по всему берегу Онежской губы, справа и слева.

Но черные мятежники не унывали. Всяких запасов у них было вдоволь, а отрезанность от земли была отчасти на руку старым монахам: она не давала возможности молодым чернецам шляться по усьольям и соседним посадам и возжаться с бабами, до которых черная молодежь были большие охотники.

После серой, скучной и мокрой осени с суровыми ветрами и туманами и после долгого Филиппова поста наступили святки. Все же хоть какое-нибудь развлечение для братии; и для почтенных старцев, и для младшей братии «утешение» положено: и брашно всякое, и разрешение вина и елея. Чего же больше людям, отрезанным от мира и его прелестей! За трапезой и лапшица добрая, и шти с сушеной рыбкой, и пшенички с яичком, и пироги с вязигой, и икорка паюсная, и теши межукосные, и яишенка глазаста, и оладьи со сметанкой, и квасок добрый, и медвяное питье; а по кельям тоже «утешение»: и коврижки прянишны и сахарны, и древо сахарно доброе, и малинка в меду, и вишенка в сахаре аглицком, и яблочки в патоке, и пастилки двусоюзные, и все от благодетелей. А для младшей братии, у кого зубы, и орешки кедровы, и орешки калены. После пенья, да метаний, да урочных поклонов это «утешение» немощи ради плоти не возбраняется.

А соснув после обеда, пока не благовестили еще к вечерням и день был ясный, без метели и пурги, старцы выходили на двор, садились на крылечках да на завалинках и смотрели, как молодшая братия, служки, да молодые трудники, да ратнички голубей гоняли. Голуби – большая утеха для отчужденных от мира. Спугнут это их ратники либо труднички, и взовьются они к небу стаями, кружатся, кружатся по аеру над церквами Божьими, а турманы свое дело делают, а особливо тот белый, «в штанцах»; уж так-то кувыркаются по аеру, что и сказать нельзя! А старцы поднимают кверху свои седые бороды, шуряются на небо, ищут чудодея турмана «в штанцах», и хоть старые очи ничего не видят издали, а все же утеха некая. А там голуби, все

кружась шире и шире, все забирая выше и выше, кажется, совсем хотят оставить монастырь и лететь за море; так нет! Исачко стоит среди монастыря, задрал к небу свою бороду и расставив руки, и все видит, и радостно покрикивает: «Ах он вор! Уж и вор птица, что выделяет!» И старцы радуются, хоть и не видят всего, что видит глазастый Исачко. А там голуби, покружась и покувыркаясь по аеру, спускаются на землю и кучами, доверчиво, словно куры, толпятся к старцам. У каждого старца в приполье либо в скуфейке горстка зерна либо крох от трапезы, и старцы бросают этот дар Божий Божьей твари, птичке небесной...

– Возрите на птица небесная, иже ни сеют, ни жнут – с любовью бормочет старец Никанор, швыряя в серую копошащуюся массу крохи от поджаренного пшенника.

А Исачко не отходит от турмана «в штанцах», так и увивается около него. Он вынес ему целый каравай пшенника: сам не ел за трапезой, а приберег своему любимцу и теперь даже испугал его видом огромного кома желтого рассыпчатого пшенника, брошенного к голубю.

– Ключ, дурашка, не бойся, не укусит, не коршун, чать, – бормочет он, нагибаясь к турману.

Появляется откуда-то и Спирия. Он все так же босиком, как и летом, без полукафтаны, в одной длинной рубахе, но уже в скуфейке. Он поднимает голову вверх и смотрит на соборную колокольню. С колокольни срываются два голубя, летят к Спирие и усаживаются, как куры на нашест, один на правое плечо юродивого, другой на левое. Спирия ослабляется.

– Что, детки, есть небось захотели? – ласково говорит он. – А не дам, ноне пост.

Голуби машут крыльями и тянутся ко рту юродивого. Тот нарочно нагибает голову.

– Что ты их дразнишь? – вступается сердобольный Исачко. – Не томи... Ты думаешь, и птичина по неделям поститься должна, как ты, двужильный!

Старцы добродушно смеются.

– Не томи их, Спирия, – говорит Никанор, смеясь седыми бровями.

Сухой, серьезный старец Геронтий машет Спириным голубям своей скуфейкой и вытряхивает из нее крошки, маня проголодавшуюся птицу. Но Спирины голуби не летят к Геронтию.

В это время из-за собора показывается Оленушка. Она в собольей шубейке, подпоясана голубым поясом и в собольей шапочке. Оленушка каталась на салазках за монастырской оградой. Молодые щеки ее пылали морозным нежным румянцем.

Спирины голуби тотчас же перелетели и уселись на плечах Оленушки.

– Нету у меня ничего, нету, гулюшки, – смеялась девушка, защищая свои розовые губы.

Лица у старцев сияли радостью и умилением. Старый седобородый Никанор улыбался бровями, глядя на Оленушку и на голубей. Даже суровый Геронтий как будто потеплел своим сухим лицом.

К архимандриту подошел старый соборный звонарь и низко поклонился.

– Благослови, святой отец, – сказал он, протягивая руки пригоршнею.

– В било? – сказал Никанор.

– Во святой колокол, к вечерне благовестить, – отвечал звонарь.

– Во имя Отца и Сына... – благословил Никанор. Звонарь поплелся на колокольню. Скоро в морозном воздухе далеко-далеко по острову и по свинцовому морю с льдинами и скалами пронесся металлический крик колокола. Голуби встрепенулись и побросали зерна.

Старцы встали, перекрестились и тихо побрели к вечерне. За ними сыпанула остальная братия, старшая и молодшая, служки и трудники, и ратные люди. Остались одни голуби доедать зерна и крохи. К ним налетели монастырские галки и юркие воробьи... Монастырь замер...

Скоро на монастырь спустилась и ночь, темная, с темным небом и яркими звездами, блеск которых бледнел только тогда, когда с полуночи шли и трепетали на небе яркие полосы «сполоха»...

Скоро и сон сошел на монастырь: братии надо успеть соснуть до полуночного бдения и до утренних метаний, и братия спит. Не спит только старость, к которой сон нейдет, так старость молится по кельям и вздыхает о грехах своих да о молодости...

Не спит еще и молодость...

Не спит Оленушка. Накатавшись вдоволь на салазках, которые смастерил ей келарь Нафанаил, большой искусник строитель и художник, отстояв потом вечерни и воротившись в отведенную ей с матерью келью, она поужинала, пощелкала кедровых орешков, погрызла немножко орла сахарного и вздумала погадать о суженом. Нельзя же, святки на дворе: хоть и монастырь, а все же святки. Мать души в ней не чаяла и потому согласилась на все, хоть в монастыре бы и грешно гадать... «Экое мирское дуростное дело, да в святой-то обители! Что ж, дитя малое, неразумное, пушай побалует... Коли и взыщет Господь, так на мне, на старой дуре; а я отмолюсь, еще привезу в святую обитель, коли жива буду, бочку-другую беремьянную вина ренского да пуд ладану росново», – думала себе Неупокоиха.

Налили в миску воды, достали жестянку, положили в нее воск от иорданской свечки и стали топить воск на светце. Растопили. Оленушка, вся пунцовая от хлопот, от жару светца и от волнения, загадала про Борю, перекрестилась истово... Рука дрожит, шутка ли! Про судьбу гадает, про суженое... Нагнула жестянку над миской. Желтой лентой полился растопленный воск в воду и, с шипом падая в нее и погружаясь, неровными лохмотами всплывал наверх... Все вылило... Дрожащею рукою, бережно, словно драгоценность какую, вынимает Оленушка восковые лохмотки из воды, кладет их на розовую ладонь и со страхом рассматривает...

– Ничего не разберу, мама, – волнуется Оленушка, – что вышло.

Волнуется и старуха. Приглядывается к ладони дочери, подносит ее к светцу, щурится...

– Кубыть венец, – нерешительно говорит она.

– Ах, нет, мама! Кочеток словно, – еще больше волнуется Оленушка.

– Може, и кочеток... У тебя глазки молоденькие, лучше моих... Кочеток, это к добру.

– Нету, мама, это сани...

– И сани к добру.

Оленушка перевернула комок воску на другой бок, приглядывается.

– Не то шляпа, не то сапог, – с огорчением в голосе говорит она.

– Что ты, глупая! Не сапог, а венец! – огорчается и старуха. – А ты не так смотришь, дитятко, – заторопилась она, – надоть тень смотреть... Дакось!

И она подносила руку дочери к стене, чтобы от нее и лежащего на ладони комка воска падала на стену тень.

– Зайчик, мама.

– Что ты, дурашка! Это твои пальцы.

Оленушка выпрямила ладонь. Тень на стене кельи вырисовалась яснее.

– Ох, клубук, мама! – испугалась Оленушка и даже побледнела.

Испугалась и старуха, но скрыла, не подала виду.

– Чтой-то ты, непутевая! – рассердилась она. – Венец и есть!

Так и порешили на венце, хотя Оленушка в венце сильно сомневалась.

– А что-то в Архангельском у нас теперь? – грустно заговорила она.

– Святки тоже, гуляют... поди, озорники в хари наряжаются...

Оленушка вздохнула. Ей кто-то и что-то вспомнилось...

– Господи! Когда же мы в Архангельской, домой воротимся? – заговорила она как бы про себя.

– Весной, дитятко, пожди маленько. Вон летом ты недужила, а там осада эта.

– А коли и весной осадят?

– Нету, не осадят. Отец Никанор сказывал, ни в жисть не осадят, напужаны-де.

– То-то, мама. А как осадят?

– Отсидимся, дитяtko. Отец Никанор сказывал: все войски никониан не возьмут обители, потому Зосима-Савватий настороже стоят.

Оленушка опять вздохнула.

– А мне хоть век тут жить, так само по душе, – говорила старуха, – святое место, покой, молишься себе, все тебя уважают... Вот один только этот пучеглазый Феклиса... А все на тебя буркалы пялит... Да уж я его и отсмердила добре...

Оленушка вспыхнула. Она сама видела, как на нее засматривался глазастый молодой чернец, что Феклиской звали, и раз в церкви тихонько ей на ногу наступил...

А чернец Феклиса тоже не спал; не спали и еще кой-кто из младшей братии... Нельзя же, святки... Прежде, до этого проклятого сидения, когда монастырь не стерегли, как девку на возрасте, еще можно было урваться в посад либо на усолья, около баб потереться да грешным делом и оскоромиться мясцом; а теперь сиди в четырех стенах, словно огурец в кадке либо супоросная свинья в сажалке. Надо же и кости поразмять, чтоб и молодая кровь не сыворотилась...

Вон огонек в работничкой поварне, мельтешит там что-то. А что? Посмотрим, благо городничий старец Протасий ненароком пересыпал себе вина и еля и теперь крепко спит.

В поварне «вавилония» идет, как выразился веселый Феклис: «жезл Ааронов расцвете», это значит, чернецы гуляют. Просторная комната слабо освещена светцом. На столе, у края, красуется бочонок. На лавках у стола сидят чернецы и играют в «зернь». А посреди комнаты стоят друг против друга молодой чернец и черничка: руки в боки, глаза в потолки, ноги на выверте, плясать собираются. В плясуне монахе мы узнаем старца Феоктиста, вернее, Феклиску, а в монашке-плясавице молоденького служку Иринеюшку, который, будучи наряжен теперь черничкою, необыкновенно похож на хорошенькую девочку.

– Ну, царь Давыд! Играй на гусях! – говорит Феклиса чернецу без скуфьи, сидящему у стола и смотрящему на игроков в зернь.

Чернец без скуфьи оборачивается и смеется при виде плясунов, собравшихся «откалывать коленца».

– Ино играй же, царь Давыд, бери гусли! – не терпится Феклиске.

«Царь Давыд», без скуфьи, берет большой деревянный гребень с продетою промежду зубцов бумажкою, – гребень заменяет гусли, – и начинает водить губами по гребню и южжать что-то очень бойкое.

«Черничка», подражая настоящей бабе, задергала плечами и завизжала несформировавшимся еще мужским голосом:

*Выходила млада старочка,
Молодохонька, хорошихонька,
Поклонилась низехонько:
«Я не девушка, не вдовушка...»*

– Не ту, не ту! – перебивает Феклиса.

И, путившись вприсядку, так что полы полукафтання расстилались по земле, зачастил говорком, а за ним «царь Давыд» с гусями:

*Не спасибо игумну тому,
Не спасибоуико всей братия его:
Молодешеньку в чернички стригут,
Зеленешеньку посхимливают.
Не мое дело в черницах сидеть,
Не мое дело к обедне ходить,*

*Не мое дело молебны служить,
Как мое дело в беседушке сидеть.
Как мое дело винцо щельгать.
Посошельцо под лавку брошу,
Камилавочку на стол положу,
А сама млада по келейке пройду.
Молодешенька погуливаю.*

– Эх, ну! – гоготал Феклист. – Го-го-го! Пред санным ковчегом скакаша-играя веселыми ногами!

А Иринеюшко павой выплывал, совершенно по-бабьи, видно, что изучил свое дело в совершенстве, и ручкой помахивал, и плечиком вихлял, и глазами «намизал». Игравшие в зернь чернецы бросили игру и любовались Иринеюшкой.

– Ай да черничка! И настоящей не надоть! – похвалили «старцы».

– Ну! Ино выпей, млада черничка, на! Вот пивцо, что варил молодой чернец.

И «царь Давыд», положив гребень, налил из бочонка пива в ковш. Иринеюшко выпил, утер рукавом розовые губы и опустил на лавку.

– Что, брат? Али по-бабьи труднее плясать-ту? – спросил игрец в зернь.

– Не в пример трудней.

– Знамо, надоть, чтобы и плечи, чтоб и все выходило.

В поварню ввалились еще гости. Вошел медвежий поводительщик с бубном, за ним медведь на веревке и коза с рогами, а на рогах старая камилавка. Веселый хохот встретил дорогих гостей.

– Ай да Миша! Ай да воевода Топтыгин! – приветствовал медведя Феклист.

– А ты прежь угости меня, – заревел медведь.

– И меня, козу в сарафане, – замекекала коза, – м-ме! И меня!

Гостям поднесли пива. Поводительщик, выпив ковш, задудел в бубен, а «царь Давыд» заюзжал на гребне. Медведь тяжело, грузно пошел плясать, а вокруг него скакала коза, трясая бородой и приговаривая:

*Я по келейке хожу,
Я черничку бужу:
«Черничка, встань!
Молодая, встань!» —
«Не могу я встать,
Головы поднять.
Уж и встати было,
Поплясати было.
Для милых гостей
Поломати костей...»*

– Вот я вам переломаю кости, лодыжники! – раздался вдруг грозный голос.

Все встрепенулись и замерли на местах. На пороге стоял городничий старец Протасий. В руках его был огромный посох, «жезл Аарона», как называли его молодые чернецы, по ком гулял этот «жезл»...

И «жезл» погулял-таки в эту памятную ночь соловецкого сидения...

IX. СПИРИНА ПЕЧЕРОЧКА

Наступила наконец и весна, к которой и в сонных грезах, и наяву, в келье и в церкви, под ровное постукивание вязальных спиц матери и под однообразное чтение нескончаемых кафизм неудержимо рвалось молодое, несутерпчивое сердце Оленушки. Бог весть откуда стали слетаться птицы, оглашая остров и взморье радостными криками, словно бы это были страннички, слетевшиеся со всего света посмотреть, что тут делается на далеком, уединенном зеленом острове и так же ли и тут плачут люди, как в тех прекрасных далеких теплых землях, откуда они прилетели, или новая весна осушила все людские слезы. И ночью, на поголубевшем с весною небе, и на светлой, румяной заре, и в яркий полдень все неслись и звенели по небесному пространству птичьего голоса, и одни смолкали там, в той стороне, с полуночи, а другие неслись к острову с той стороны, от полудня. Все короче и короче становились ночи, все продолжительнее и продолжительнее становились дни. И вокруг келий, и у монастырских стен, и за стенами, и даже в трещинах, и на выступах старых стен и крыш пробивалась зеленая травка. Остров ожил вместе с этою оживающею зеленью и с этим неугомонным птичьим криком и галасом. Даже с монастырскими птицами – с голубями, галками и воробьями – творилось что-то необычайное. Белый турман «в штанцах» вился и кувыркался в воздухе еще безумнее, так что Исачко, задирая к небу голову, чтобы лучше видеть своего любимца, чуть не свихнул свою воловью шею. Спирины «гули» совсем бросили своего воспитателя и все целовались на соборном карнизе и доцеловались до того, что едва успели кое-как смостить себе на одной балке гнездо, и то благодаря юродивому, который тихонько подкладывал им поблизости гнезда соломки и шерстки...

– Это брат-то с сестрой? – подшутил над ним однажды Исачко, увидев его за этим благочестивым занятием, и лукаво подмигнул своими косыми глазами. – Ах ты, старый греховодник!

Когда же Оленушка спросила Спирию, почему «гули» покинули его, юродивый отвечал:

– Погоди маленько, дитятко, и ты кинешь матушку для Борьки.

Оленушка только вспыхнула и закрылась рукавом. Ей и страшно, и хорошо разом сделалось от слов юродивого. Как он мог узнать, думалось ей, что у нее есть в Архангельском зазнобушка? И как он мог знать, что его зовут Борей? Вестимо, потому, что он святой, прозорливый человек, а потому насквозь человека видит и мысли его читает, и душу видит как на ладонке, и все грехи его знает. И при этом Оленушка зарделась еще больше: она вспомнила, что сегодня утром ей страх как хотелось молочной каши... А сегодня среда, постный день... Спирия все это знает, ах, срам какой!

Теплый, ласковый весенний воздух тянул Оленушку за монастырские ворота. За воротами, казалось, ближе было к Архангельску: коли бы крылья, как у тех пташек, так бы и полетела через море.

Оленушка чуть не заплакала. Шутка ли! Скоро год, как они сидят здесь словно в темной темнице. А еще когда-то приедут богомольцы да возьмут их с собою! Да и приедут ли? Может, опять нагрянут эти московские разбойники, опять запрут монастырь и опять начнется пальба без конца.

Долго бродила Оленушка вокруг монастыря, тоскуя и не находя себе места. Зайдя за один выступ монастырской стены, подходившей почти вплоть к морю, она уселась на краю обрыва и, собирая вокруг себя мох, стала делать из него венки. Она совсем углубилась в свое занятие, вспоминая то, что нагоняла ей на мысли молодая память, или раздумывая о настоящем, смысла которого она никак не могла понять. Она много слышала о каком-то Никоне, и он представлялся ей каким-то зверем, но зверем невиданным: таким, какой написан на одном образе в соборе, не то зверь, не то человек, не то баба. И зачем это он книги какие-то новые

выдумал? Зачем он велит креститься тремя перстами? И для чего он какой-то «аз» у Христа отнял, а самого Господа Иисуса каким-то «ижем» прободал? Что это за «иже» такое? Разве то копьё, которым воин Христа на крест прокалывает в ребра?.. И чего нужно от монастыря этим стрельцам? Она думала и об Аввакуме, который представлялся ей в виде того святого, который стоит на столбе и крестит двумя перстами тех, что стоят под столбом... Сколько народу стоит!.. Вспомнила она и того красного, как огонь, чернеца в веригах, что пришел от Аввакума: этот чернец пропал еще с осени – говорят, его воевода замучил, отрубил ему все пальцы на правой руке, а когда на руке снова выросли только два пальца, указательный и средний, и он опять начал молиться этими двумя пальцами истово, то воевода отсек ему голову, а пальцы сколько ни отсекал, они вновь прирастали...

Сидя так неподвижно, Оленушка с удивлением услышала, как будто кто-то под землю шевелится, не то глухо скребется. Она стала прислушиваться и осматриваться. Почти под ногами у нее, ниже, под неровным каменистым берегом плескалось море, наскакивая на берег с пеной и снова отступая и падая. Вправо из-за корней и спутавшихся ветвей с свежее зеленью выглядывал большой серый камень. Всмотриваясь в него, Оленушка видела, что из-под самого камня, казалось, сползала земля и тихо сыпалась в море с отвесной кручи. Отчего же это сползала там земля? Разве камень хочет упасть в море? Так камень, кажется, не двигается.

Вдруг из-за камня показалась косматая голова. Оленушка чуть не вскрикнула, да от ужаса так и прикипела на месте с пучком моха в руке... Голова повернулась, и Оленушка узнала Спирию! Юродивый также узнал ее, и его добрые, собачьи глаза блеснули радостью...

– Это ты, девынька? – отозвался он тихо.

– Я, дедушка, – отвечала девушка, чувствуя, что у нее еще колотится сердце.

Юродивый совсем вылез из-за камня. Он был весь в земле – руки, ноги, волосы.

– Ты что это тут, девынька, делаешь? – спросил он, приближаясь.

– Венок заплетаю.

– А!.. А кому?

– Богородице, дедушка, на образ.

– Умница, девынька, заплетай.

– А ты, дедушка, что тут делаешь?

– Ямку себе.

Оленушка глядела на него удивленными глазами.

– Норку, – пояснил юродивый, – нору зверину.

– Нору?

Оленушка ничего не понимала и в недоумении теребила свой венок.

– Печерочку себе махоньку копаю, девынька, – пояснил Спирия, показывая руками, как он это копает.

– На что ж она тебе, дедушка?

– А молиться в ней буду, вон как в Киеве печерские угодники молились.

– А на что ж церква, дедушка?

– Церква церковной... только в церкви соблазн бывает, девынька, а в печерочке только Бог да смерть.

Девушка невольно вздрогнула.

– Господи! Как страшно...

– Страшно меж людьми, девынька, на вольном свету, а под землей благодать.

Оленушка задумчиво смотрела на море. Юродивый сел около нее.

– Только ты, девынька, никому не сказывай о моей печерушке, ни-ни! Ни матушке родимой!

– Не скажу, дедушка.

– То-то же, смотри у меня, Христом прошу.

Девушка продолжала смотреть на море и прислушиваться к далекому плаканью чаек.

– Что, скучаешь у нас, девынька?

– Да, дедушка, домой бы.

– Али дома лучше?

– Лучше.

Юродивый помолчал, вздохнул, помотал головой. Он вспомнил, что у него когда-то было свое «домой». Только давно это было.

И перед ним вместо этого безбрежного моря с плачущими чайками нарисовалась другая картина, вся озаренная солнцем юга. Высокий берег Волги с темною зеленью в крутых буераках. В зелени не переставая кукует кукушка. Красногрудый дятел однообразно долбит сухую кору старого тополя. В ближней листве высокого осокоря свистят задорные иволги, а на сухой ветке дуба тоскливо гугнит лесной голубь припутень. Вниз по Волге сверху плывет косная лодочка, изнаряженная, изукрашенная. По воде доносится песня:

*Полоса ль моя, полосынька,
Полоса ль моя непаханая...*

Лодка причаливает к берегу. Удалые молодцы высаживаются и выводят под руки кого-то на берег... Виднеется девичья коса, а на солнце играет «лента алая, ярославская».

«Здравствуй, батюшка атаманушка Спиридон Иванович! – кричат удалые. – Прймай любушку-сударушку за белы руки...»

Спиря вздрагивает и дрожащею рукою ощупывает в своей суме мертвый череп, «Прочь, прочь!» – мотает он своею поседелою головой...

– Так в Архангельском лучше, чем у нас, вот здесь? – снова заговорил он.

– Лучше, дедушка, не в пример лучше.

– А чем бы, скажи-тко?

– Ах, дедушка! Да теперь там, с весной-то, что кораблей из-за моря придет! И из галанской земли, и с аглицкой земли, и с дацкой земли, и с любской земли, да города Амбурха! Ах и что ж это!

Оленушка даже руками всплеснула.

– Ну и что ж, что придут? – как бы подзадоривал ее юродивый, любясь оживлением девушки.

– Как чу что! А товаров-то, узорья всякого что навезут!

– Ай-ай-ай! – качал головой юродивый.

– И зерна всяки гурмышски, и женчуг большой, и мелкой, и скатной, и бархаты турецки, и фларенски, и немецки, целыми косяками! А что отласов турецких золото с серебром, что камок добрых всяких цветов, и камок кармазинов, крушчатых и травных, и камочек адамашек! А то золото и серебро пряденое, бархаты черленые, кармазины, бархаты лазоревы и зелены, бархаты таусинные, гладкие, да бархаты багровы, да бархаты рыты...

Спиря ласково глядел на нее и грустно качал головой.

– Ай-ай-ай! Что у вас узорочья-то! – повторял он как-то машинально.

– Да, дедушка, а отласы-те каки! – все более и более увлекалась Оленушка. – И черлень отлас, и лазорев отлас, и зелен отлас, и желт отлас, и таусин отлас, и багров отлас! А объари золотны, а камочки индейски, а зуфи анбурски, а шелки рудо-желты да дымчатые, а шарлат сукно да полушарлат, да сукна лундыши, да сукна пастрафили! А ленты-то, ленты!

А перед юродивым опять промелькнула «лента алая, ярославская», и крутой берег Волги, и эта широкая голубая река, и туманно-голубое безбрежное Заволжье...

– «Атаманушко Спиридон Иванович!.. Любушка...»

– Господи! Отжени – ох! – невольню простонал, хватаясь за сердце, юродивый.

Оленушка невольно остановилась.

- Что с тобой, дедушка?
- Ничего, дитятко... Так ленты, сказываешь?
- Ленты, дедушка, алы...
- Так и алы?
- Алы и лазоревы...
- Тете-тете... ишь ты...

Оленушка взглянула на море да так, казалось, и застыла. Приподнятая рука остановилась в воздухе. Доплетенный венок упал на колени. Щеки ее все более и более заливал румянец...

В туманной дали на гладкой поверхности моря белели, как светлые лоскутки, паруса... Да, это не крылья чаек...

- Дедушка! – чуть слышно заговорила девушка.
- Юродивый взглянул и оглянулся кругом.
- Что ты, дитятко? – спросил он рассеянно.
- Плывут... вон паруса...
- Кто плывет?
- Они... богомольцы.

Девушка показывала на море. Юродивый щурился, прикладывал ладонь над глазами, в виде козырька.

- Не вижу, девынька.
- А я вижу, дедушка, вон...
- У тебя глазки молоденьки.

Оленушка вскочила на ноги, поднялась на цыпочки и готова была, казалось, побежать по морю, как посуху. Глаза ее горели, губы дрожали.

- Господи! Богородушка! Кабы батюшка приехал!

Вдруг на стене что-то грохнуло и рассыпалось гулом по острову и по морю. Юродивый перекрестился.

- Вот тебе и на! – сказал он тихо и опустил голову.
- А что, дедушка? – встрепенулась Оленушка.
- Злодеи плывут, дитятко. Ах! Ноли не слыхала пушки?

Оленушка, бледная как полотно, упала на землю и зарыдала голосом.

Х. НАЧАЛО БЕСПОПОВЩИНЫ

Не сбылись надежды Оленушки. С весны монастырь снова обложен был стрельцами.

Теперь воевода Мещеринов явился под монастырь уже с царскою грамотою, за государственною большою печатью, «под кустодиею», коймы и титул писаны золотом.

Стрелецкий полуголова Кирша вступил в монастырь во всем величии посольства, с двумя сотниками, держа царскую грамоту на голове, на серебряном подносе, словно дароносицу. Власти монастыря ввели его прямо в собор. Старик архимандрит, круто насупившись и шевеля волосатыми бровями, с амвона принял грамоту с головы Кирши, который ни за что не решался нагнуться или шевельнуть своею волчьею шею...

– С царскою грамотою, что и с дарами, гнуться не указано, – раздался в тишине его сиплый голос.

Черная братия усиленно дышала. Никанор, приняв с головы стрельца грамоту, повернул ее на свет.

– Печать большая государственная, под кустодиею, с фигуры... подпись дьячья на загибке, – бормотал он как бы про себя, рассматривая документ государственной важности.

Около него стояли келарь Нафанаил, городничий старец Протасий и длинный и сухой как жезл Аарона старец Геронтий.

– Огласи грамоту, по титуле, – сказал глухо Никанор, передавая грамоту Геронтию.

Геронтий взял грамоту. Сухие и длинные руки его дрожали. Черная братия притаила дыхание.

Геронтий откашлялся, словно ударил обухом по опрокинутой сорокоуше.

– «...Бога, – начал он прямо с октавы. – Бога в трех присносиятельных ипостасех единосущего, пребезначального, благ всех виновного светодавца, им же вся быша, человеческому роду мир дарующего милостию!» Грамота ходенем ходила в его руках. Голос иногда срывался. Золото, которым блистал титул царя, рябило в глазах. Он передохнул.

– «...И сие благодеяние повсюду повестуя, мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель...»

«Облаадатель» на слог «л а а» он неимоверно вытянул, в точности следуя написанию титула, в котором «обладатель» неизменно должно было писаться с двумя «азами» после «люди»: «начертание истовое», освященное, за опущение одного «а» в титуле дьяков секли батоги, а подъячих – кнутом нещадно... Таково было время...

– «...Облаадатель!.. – рявкнул Геронтий – Соловецкого нашего монастыря архимандриту Никанору, келарю Нафанаилу, городничему старцу Протасею и соборному старцу Геронтию (опять сорвался голос), священникам, дьяконам, всем соборным чернецам, и всей братии рядовой и больнишной, и служкам и трудникам всем!»

Он перевел дух. Собрание дышало тяжело, порывисто, словно в церкви не хватало воздуха. За окнами ворковали и дрались голуби. Воробьи чирикали, словно перед грозой. Залетевшая в собор ласточка пронеслась над самой головой Геронтия, едва не зацепив его крыльями, и прицепилась лапками к иконостасу. Над черными клубуками и скуфьями собора поднялась костлявая рука Спири: юродивый грозил пальцем ласточке.

– «...В минуших летах и в прошлом – во сте восемьдесят во втором году, – продолжал, передохнув, Геронтий, – посланы были по указу моему, государеву, к вам, к братьям, книги новой печати для церковного обиходу, чтобы вам по тем книгам службу служить и литургисать. И вы тех книг дуростию своею и озорством не приняли, по тем книгам не литургисали, и божественного пенья не пели, и молебнов не служили, а яко свиньи бисер многоценен те книги

ногами потоптали, и моих государевых ратных людей в монастырь не пустили, и по ним, яко бы по неприятелям и врагам церкви божий, в меня, великого государя, из пушек и пищалей стреляли, и аки козлы мерские по старым книгам литургисали и аллилуйю сугубили, а не трегубили, и аз из символа веры, яко волчец некий из нивы господней, не исторгали, а козлоглазовали с азом, и иже у имени Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, яко камень многоценен из ризы Господней, украли, и иное неподобное творили».

Черная братия с изумлением и страхом смотрела на чтеца и на старого Никанора. Геронтий передохнул и отер рукавом пот, выступивший на сухом морщинистом лбу. Никанор насутился так, что за бровями совсем не видно было глаз, только лицо его покраснело. Губы беззвучно шевелились, как бы пережевывая страшные слова грамоты.

Не поднимая глаз от бумаги, Геронтий глубоко забрал в грудь воздух и продолжал:

– ...«И как к вам сия наша, великого государя, грамота придет, и вы б от своей дурости и озорства всеконечно отстали, и моих государевых людей честно и грозно приняли по старине, и по новым книгам есте литургисали, и аллилуйю б есте не сугубили, и аза из символа веры извергли, и ижа у Иисусова имени не отымали. А буде вы сего нашего государского указа не послушаете и от своего озорства не отстанете, и за то вам от нас, великого государя, быти в опале, и в жестоком наказании и конечном разорении безо всякия пощады, даже до смертной казни».

Все кончено! Геронтий с трудом перевел дух и поднял глаза к небу, к куполу. Братия, по-видимому, ждала чего-то. Но Никанор, на которого все смотрели, упорно молчал.

Геронтий вертел грамоту в руках. Посол Кириша ждал и глядел на Никанора. Тихо кругом, и только слышалось, как перед образом Спасителя юродивый стучался лбом об пол.

– Грамота великая, подлинная, – говорил сам с собой Геронтий, глядя на золотое письмо в начале, – коймы и фигуры писаны золотом... богословье и великого государя именованье по иже, а Соловецкого монастыря по мыслете писано тож золотом.

– Эко диво золото! – раздался вдруг хриплый голос. – У дьяков золота много.

Все оглянулись. Это говорил юродивый.

– Спиридон дело говорит! – вдруг глянул из-под своих бровей старый Никанор. – Можно золотом написать не токмо по мыслете, а и по самое твердо, а то и до ижицы, всю грамоту можно золотом написать, а все ж та грамота будет не в грамоту.

– А печать под кустодиею? – возразил Геронтий, весь бледный.

– Печать у дьяка в калите.

– А коймы и фигуры?

– На то есть писцы и богомазы, – отрезал Никанор, – все состряпают.

– Так ты думаешь, эта грамота не царская? – удивился Геронтий.

– Она у царя и на глазах не была.

– Ноли великого государя обманывают?

– И Бога обманывают, – послышался ответ юродивого.

– Только у Бога дьяки не нашим чета, – пояснил Никанор.

Черный собор, доселе тихий и спокойный, как омут, зашевелился: словно рябь от ветерка по тихому омуту, пробежало оживление по сумрачным дотоле лицам черной, черноклобучной и чернскуфейной братии. Засверкали глаза, открылись рты, заходили бороды, задвигались плечи, замахали руки.

– Золотом писано, эка невидаль! У мово батюшки баран с золотыми рогами всегда по двору хаживал, – закричал чернец Зосима из рода князей Мышецких.

– Что бараны! Мы сами на миру едали баранов с золотыми рогами! А у нас в Суздале богомаз черту рога позолотил! – отозвался другой чернец.

– Черт золотом писан! Вон что! А то... ат-грамота золочена! Позолотить все можно! – раздавался третий голос. – Вон, слышь, аллилуйю-матушку – трегубо!.. Али она, матушка, – заяц трегубый!

– Не надо нам зайца! По-заячьи литургисать не хотим.

– Не дадим им, никонианам, аза-батюшку. Аз – слово великое!

– Великое слово – аз! На ем мир стоит! За его, батюшку-аза, помирать будем!

– Ижем Исуса Христа прободать не дадим! Мы не жида!

– И трех перстов не сложим! Ин пушай нам пальцы и головы рубят, а не сложим!

Невежество, дикий фанатизм и изуверство брали верх. Более благоразумные и грамотные священники и иеромонахи молчали и только озирались на бушующую молодую братию и на закоренелых стариков. У Никанора глаза искрились из-под седых бровей, как раздуваемые ветром угольки в пепле.

Юродивый, протискавшись к Кирше, который стоял ошеломленный, и вынув из сумы череп мертвеца, показал его изумленному стрелецкому полуголове. Тот с испугом отшатнулся назад.

– Знаешь ты, кто это? – спросил юродивый, протягивая череп к Кирше.

– Не знаю, не знаю, – был торопливый ответ.

– А! Не знаешь?.. Так и мы знать не хотим того, кто тебя послал... Мы знаем только того, кто нас всех на землю послал, и меня, и тебя, и вот его (он ткнул пальцем в череп). А ты знаешь... Его?

– Кого?

– Того, который на кресте вот так пальчики сложил (юродивый сделал двуперстное сложение), когда Ему руки к кресту пригвоздили?

Кирша не мог ничего отвечать. Он только испуганно глядел то на череп, то в добрые, собачьи, теперь светившиеся глаза юродивого.

– Он так велел креститься, а не по-вашему.

Кругом стоял гам и галас. Черный собор делился надвое. Зазвучал трубный голос Геронтия:

– Грамота царская истинная, с титулом и богословьем в золоте! Грамота истовая, ей перечить нельзя.

– Волим повиноваться великому государю! – поддержали его священники.

– Не волим! – кричала рядовая братия.

– Мы за великого государя молиться охочи!

– Молитесь, коли вам охота, только вы нам после этого не попы!

– Какие попы! Никониане!

– Щепотники! Хиротонию ни во что ставят!

Кирша видел, что его посольство опять не выгорало.

Когда крики несколько стихли, он обратился к Никанору, который стоял как заряженный.

– Какой же ответ, святой архимандрит, дать мне воеводе?

– Таков, каков Христос дал сатане в пустыне! – разрядился Никанор.

Кирша глядел на него вопросительно.

– Я не знаю, что Христос сказал сатане, я не поп.

– А не поп, так и не суйся в ризы!

– Я не суюсь в ризы...

– Как не суеться! А зачем в чужой монастырь да с своим уставом лезешь?

– Я не сам лезу, мне указано, я с грамотой великого государя.

– Нам ваша грамота не в грамоту! Апостолы-те да святые отцы были постарше ваших грамотеев: так мы крестимся и петье поем так, как они повелели.

– Я ничего не знаю, я послан, так великий государь изволил, – оправдывался Кирша, чувствуя, что он слаб в богословии, что его дело на саблях говорить да делать то, что воевода велит.

– Так уходи с тем, с чем пришел! – крикнул Никанор.

– Уходи подобру-поздорову! – Заковать его! – В яму! – Зачем в яму?.. – раздавались голоса.

– Стой! – снова затрубил Геронтий, обращаясь к Кирше. – Я за великого государя всегда Бога молил, теперь молю и напередки молить должен. Ино как поволит великий государь, а я апостольскому и святых отец преданию последую, а что Никон в иновых книгах наблюдал, и той его блевотины я отметаюсь: новоисправленных печатных книг, без свидетельства с древними харатейными, слушать и тремя персты крест на себе воображать сумнительно мне, боюсь страшного суда Божия!

– Ох! Ох! Страшен суд Божий! – опять заревела черная братия.

– Долой никонианские книги! Долой еретическую блевотину!

Кирша понял, что ему ничего не оставалось делать, как поскорей убираться из монастыря. Сотники, которые безмолвно стояли у него за спиной, повернулись к выходу и, держа сабли наголо, прошли сквозь ряды черной братии. Вслед за ними шел Кирша с блюдом под мышкой. За Киршей вышли из собора Геронтий и другие черные священники.

Перед собором стояли в сборе все монастырские ратные люди. Впереди их сотники Исачко и Самко.

– Одумайтесь, пока не поздно, – сказал Кирша, направляясь к воротам.

– Поздно уж! – гордо отвечал Исачко.

– У нас дума коротка: приложил фитиль, и бубух! – пояснил Самко.

– Доложи воеводе, что мы за великого государя Бога молим! – крикнул Геронтий вслед удалявшемуся Кирше.

– И мы! И мы також! – подхватили черные священники.

Тогда Самко подскочил к ним, закричал: «Кто вам велел, долгогривые, за еретиков молиться!»

– Великий государь не еретик! – прогремел Геронтий.

– Нам великого государя не судить! – подхватили черные попы.

– А! Так вы все за одно! – приступил Исачко. – Мы за вас горой, а вы к нам спиной!

– Кидай, братцы, ружье! – скомандовал Самко, обращаясь к ратным людям, – нам с еретиками не кашу варить! Пуцай их целуются со стрельцами.

– Клади ружье на стену! – крикнул Исачко к часовым, стоявшим на стене. – Нам тут делать нечего.

В это время, откуда ни возьмись, юродивый – сел наземь между черною братиею и ратными людьми, подпер щеку рукой и запел жалобно, как ребенок:

Чижик-пыжик у ворот,

Воробьишек махонькой.

Эх, братцы, мало нас,

Сударики, маненько...

– Да, мало вас останется, как мы уйдем! – засмеялся Исачко. – Всех вас тут, что глухарей, лучком накроют.

Из собора высыпала вся черная братия. Впереди всех Никанор-архимандрит, Нафанаил-келарь и старец Протасий-городничий. Увидав, что ратные покидали ружья, Никанор остановился в изумлении.

– Что это вы, братцы, затеяли? – тревожно спросил он.

- В Кемской, отец-архимандрит, собираемся, – отвечал Исачко.
 - Зачем в Кемской?
 - Мед-вино пить.
 - По старине Богу молиться, а не по новине, – добавил Самко.
 - Да что с вами! – изумился архимандрит. – Кто говорит о новине?
 - Вот они все (Самко указал на черных попов): за еретиков молиться хотят.
 - Мы не за еретиков молимся, а за великого государя, – перебил его Геронтий.
 - Ну и молитесь себе, а мы вам не слуги.
 - Нам на великого государя руки подымать не пристало, руки отсохнут, – пояснил Геронтий.
 - Ноли мы на великого государя руки подымаем? – возразил Никанор.
 - На его государевых ратных людей, все едино.
 - Много чести будет всякую гуньку кабацкую царской порфире приравнивать.
- Между тем келарь Нафанаил, ходя меж ратных людей, бил им челом, чтоб они умиловались, взяли назад ружья.
- Братцы! Православные! – молил старец. – Будьте воинами Христовыми, не дайте на поругание обитель божию, святую отчину и дедину преподобных отец наших Зосимы-Савватия: они, светы, стоят ноне у престола Господня, ручки сложимши, за нас Бога молят, да не излиет на нас фиал гнева своего. Детушки! Воины Христовы! Пойдите за святую обитель, как допрежь того стояли!
- Но и Геронтий все более возвышал голос.
- Кто противник царю – Богу противится! – перекрикивал он всех своею трубою.
- Никанор понял, что наступает решительная минута, и закричал к ратным людям, указывая на Геронтия и на черных попов:
- Что на них смотреть! Мечите их всех в колодки!.. Мы и без попов проживем: в церкви часы станем говорить, и попы нам не указчики – у нас один поп Бог и Его всевидящее око.
- Не знал тогда Никанор, что его слова «без попов проживем» послужат источником того исторического явления в русской жизни, которое выразилось в «беспоповщине».
- Ратные кинулись на Геронтия и на всех черных попов и почти на руках стащили их в монастырскую тюрьму. А юродивый продолжал сидеть на земле и, раскачивая свою лохматую голову, жалобно причитал:

*Эх, братцы, мало нас,
Сударики, маненько...*

XI. ВОРОВСКОЙ АТАМАН СПИРЯ БЕШЕНЫЙ

– В ту пору, еще до Стеньки Разина, гулял на Волге воровской атаман Спиря, по прозванию Бешеный. Уж и точно, что бешеный был! Такого я отродясь не видывал. Да и как его земля-матушка держала! Да она, поди, земля-то, и не примет его, окаянного! Был он родом из детей боярских, да только царской службы не служил, царским воеводам пятами покивал и был таков: все считался в нетях, а братья его, у него было их четверо, все были в естях. Каждую весну собиралась его станица понизовой вольницы – как весна, так и кличет клич: «Эй, вы, голые и босые, кнутом сеченные, катом меченные, холопы боярски и рейтары царски! Валите в мою станицу, по Волге-матушке гулять, зипуны добывать!» Ну и сыпанут к нему голутвенные да отчаянные, что осы на мед. А станы его были по Волге по всей, и в Жигулевых горах, и под Лысковом, и под Макарьем, и пониже Саратова, и повыше Царицына. Соберется это станица Спирина, не одна сотня голутьбы, не две и не четыре, а в тысячу шапок и больше того, соберется эта галичь, а косные лодочки у него давно готовы, вверх пузом лежат по Жигулевским яругам, слетелось воронье драное да рваное, кто с ружьем, с ножом за поясом да за онучкой-поворозкой, кто с кистенем, а кто и просто с дубиной да осиною, возьмут в руки яровы весельца, грянут весновую службу, ну и пошла строчить строка кровавая как к городу либо к боярской усадьбе, и пошел по крышам да по подклетью летать «красный петух», красными крыльями до неба машет, «кукареку» поет от зари до зари. А Спиря кричит: «Добывай, братцы, зипуны с плеч боярских да подьячих, крапивного семени, а коли зипуны не сымаются с плеч, с кожей сымай!» Хоть и боярское отродье, сам-от атаман, а готов был всех бояр да подьячих в ложке воды утопить и эту воду выпить.

– Насолили, должно, эти бояре ему.

– Был пересол, это правда. Бегал он однава от службы, в нетях был, это еще смолоду, когда только женился: с год эдак пожил с женой, ребеночка прижил с ею, дочку, а тут вести пришли, чтоб все дети боярские в поход снаряжались. Братья-то его в естях объявились, а он в нетях, на низы, на Волгу сошел. Долго ли, коротко ли нетовал, а об молодой жене не забывал, все тянуло его повидать ее и с дочкой. Вот однава он и нагрянь в свою вотчину, да ночью, чтоб никто из холопеи не видал да воеводе не донес. Приходит. Дело было летом. Так да эдак, пробрался он к своему двору, прополз садком к светелке, где жила его жена. Ноли слышит, под ракитовым кустом что-то шушукает. Он по-за кустом, словно еж, пробрался да и слушает: «Настенька, разлапушка, а что, коли твой постылый из нетей воротится?» – «Не знаю, соколик мой, что и будет со мной... Останется одно: со крутого бережочка да в реку». – «Что ты, не моги и думать об этом! Мы лучше сделаем его в нетях на веки вечные». – «Как же это? А коли придет?» – «Тут-то мы ему нетей и поднесем: так на тот свет в нетях и уйдет». А он все это слышит... «А, – говорит, – змея подколодная! Так я же вас в нетях сделаю, а сам останусь в естях». Да тут же и положил их на месте. Его бросил под кустом, а у нее голову отрубил и унес с собой.

– С кем же это она, подлая, снюхалась?

– С его ж воеводой, с Мышецким-князем.

– Поделом им.

– Поделом! Эх ты, рыбин сын! А сам нешто не нюхал чужих жен?

– Нюхал, нюхал, да не попадался.

– То-то! А попадись-ка...

– Да ты полно спорить, дядя Серега, сказывай дальше... Ну, отсекай ей голову?

– Отсекай голову да и приносит к своим молодцам, на Волгу: «Смотри, говорит, братцы, какова у меня женушка красавица! Соскучился по ее красоте да вот, говорит, и принес с собою». А она, сказывают, точно была красавица. Вот он велел молодцам заострить палю осии-

нову, взоткнуть на нее голову женину, да и говорит: «Плюйте, братцы, атаманской жене в мертвые очи». Как сказал – так и сделали молодцы: каждый подходил к мертвой голове и плевал ей в лицо, а иной, горяченький, так и пощечину давал покойнице. Натешившись такою забавочкою вдоволь, и ну лютовать Спирия! Уж и лютовал же! Лет пятнадцать-шестнадцать ни проходу, ни проезду не было по всему низовью, а особливо доставалось боярам да воеводам. А голову женину не оставил на пале, а взоткнул ее на атаманской лодке, на мачту: так с жениной головой и лютовал по Волге. Я сам эту голову видел...

– Что ты, дядя! Как!

– Костяк один белел на мачте: череп да челюсти с белыми зубами... В ту пору у нас с ним бой был на воде, на Волге. Уж и чесу он нам задал! Всех перебил, что было у нас стрельцов, да перетопил, и воеводу Беклемишева на мачте под жениной головой повесил. Меня в ту пору Бог спас, доплыл до берега, да из-за кустов уж, из-за верболозу, и видел, как воеводу вешали.

– А что после с ним, с этим Бешеным Спирей, было?

– А было то, что никому не дай Бог... Гулял он эдак десятка полтора годков по Волге, перегубил душ христианских несосметимое число, да и говорит одна молодцам: «Скучно мне, братцы, без жены... Вон женушка моя высоко живет, не достать ее, а вдовцом мне стало тошно жить: либо жену добыть, либо в Ерусалим итить, либо в Соловки посхимиться». – «Ладно, – говорят молодцы, – исполать тебе, батюшка-атаманушка Спиридон Иванович, умел нас в люди вывести, нарядить в зипуны да кафтаны цветные, сослужим и мы тебе службу, добудем полюбовницу, да такую, чтобы краше ее и на Руси не было». Долго ли, коротко ли рыскали они по городам, ноли приезжают в стан и привозят атаману такую красавицу, какой и в сказке не бывало, боярскую дочь из-под Мурома. Как увидал атаман ее, так и задрожал: словно то была его жена, только еще краше. Жаль ему стало бедной, в первый раз пожалел душу христианскую и говорит: «Жаль мне тебя, красавица боярская дочь, я хочу-де воротить тебя к отцу-матери: кто-де будут твои отец, матушка, какого-де ты роду племени?» – «У меня, – говорит девица, а сама плачет, – у меня нет ни батюшки, нет ни матушки: я-де круглая сирота». – «А кто были, – говорит он, – твои родители и откедова ты родом?» – «Я, – говорит она, – из-под Мурома, из роду Хилковых»... Атаман так и вскочил, как обожженный: «Хилковых?..» – «Да, – говорит, – Хилковых». – «А которого Хилкова?» «Спиридон Иваныча», – говорит она. «Так ты Оленушка?» – говорит, а сам весь дрожит. «Оленушка», – говорит она и сама руки ломает. «Так вон, – говорит, – посмотри на мачту...» – а на самом лица нет. Девица взглянула вверх да так и помертвела, «Это, – говорит он, – твоя матушка родима – это я-де убил ее и голову взял с собой, по писанию: „Бог-де соединил, человек да не разлучает“. Девица молчит – чуть жива. „А знаешь, – говорит он, – Оленушка, кто я тебе довожусь?“ Она молчит, только дрожит, что осиновый лист. „Я, – говорит он, – твой родитель, Спиридон Иванов, сын Хилков, а ныне воровской атаман Спирия Бешеный, хотел взять тебя, дочь свою родную, себе в полюбовницы“... Да как схватит себя за волосы, да как захохочет! а она-то, уж и Бог знает, что с ней сделалось, как глянет на мачту-ту, на материну голову, да на отца, как тот, с горя должно, сбесился, перекрестилась да со всего размаху в Волгу...

– Что ты! Ах, бедная сиротка! Ну, и что ж?

– Только пузыри пошли...

– И не пымали?

– Где пымать!

– Ну, а он?

Он хотел было туда ж за дочкой, да молодцы не пустили, связали... А там, как пришел в себя, достал с мачты женину голову и был таков!

– Как? Пропал?

– Пропал без вести. Одни сказывали – в Ерусалим пошел молиться, другие – что утопился.

– Я здесь! Я – Спиридон Иванов, сын Хилков, не пропал и не утону! – раздался вдруг словно из-под земли глухой голос. – Здесь я!

Стрельцы оцепенели от этого голоса и от этих слов. Они сидели в окопах, подведенных почти к самым монастырским стенам, и отдыхали после земляных работ, готовясь к приступу на следующее утро и слушая рассказы бывалого человека, старого стрельца, не раз бившегося на Волге с понизовою вольницею, в том числе с шайками атамана Спири Бешеного, а потом попавшего в водоливы к Стеньке Разину. Самый рассказ Чертоуса, – так звали старого стрельца, – подготовил слушателей к чему-то страшному, и вдруг этот подземный голос!.. Многие из стрельцов крестились, с испугом озираясь кругом; другие вскочили, чувствуя, что подземный голос выходил как будто у них из-под ног...

– Чур! Чур! Чур! Наше место свято! Ох!

– Аминь! Аминь! Аминь! Рассыпья!

– Помилуй мя, Боже, по велицей... охте мне!

– Это нечистый дух либо водяной, – говорили иные стрельцы, глядя на воду и невольно вздрагивая.

– Нет, это ево душа бродит, земля ево не принимает, – пояснил Чертоус.

– То-то! Не надо было поминать его не в добрый час.

– А как было знать его! Кабы знатье – вестимо что...

Где-то в ночной тишине заплакала чайка... Что-то проснулось в воде... Опять словно плач протяжный над морем, и опять тихо...

– Это, поди, она плачет чайкою, Оленушка – что утопла.

* * *

– ...Матушка! Матушка! – окликает Оленушка Неупокоева спящую мать.

– Ты что, дитячко? – спрашивает сонный голос.

– Мне страшно что-то.

– Чего страшно, глупая? С нами крестная сила.

– Вон кто-то за окном царапается.

– То голуби спросонья крыльями.

– А это кто плачет?

– Чайка, али не слышишь?

– Да, слышу, чайка.

– Что ж ты не спишь?

– Я сон видела... я летела над морем... лечу это и стала падать в море, ух!

– Это к росту, глупая.

– А меня из воды Спирия вытащил...

– Ну, чего ж еще! Перекрестись истово, сотвори молитву Иисову и спи.

– Жарко... в окно кто-то глядит...

– Что ты! То бузиновая ветка... Придвинься ко мне ближе и баинькай, глупая...

– Ох! Что это!..

Это грянула со сторожевой башни вестовая пушка, и глухой гул ее, казалось, отскочив от монастырских зданий, покатился по морю. Вздрогнули кельи, и сонный монастырь ожил: и ратные люди, и черная братия спешили к монастырским стенам, крестясь и спрашивая друг друга, что случилось, хотя каждый догадывался, что случилось что-то недоброе.

В самом деле, над монастырем висела страшная опасность. Стрельцы, сделав в одном месте подкоп, под защиту которого они могли подобраться под самую стену, и протаскивая туда до десяти лестниц, ночью приставили эти лестницы и, пользуясь сном часового в этом месте, полезли на стену. Так как лестницы приставлены были одна бок о бок к другой, тесно,

чтобы на одном этом пункте сосредоточить силу нападения и стойко выдержать сопротивление на стене, в случае если монастырь вовремя проснется, то казалось, что на стену взбиралась сплошная масса людей, сверкавших в темноте бердышами. Монастырь был на краю гибели. Уже верхние стрельцы, во главе которых взбирался старый Чертоус, почти касались верхушки стены. В монастыре была мертвая тишина. Все спало.

Не спал один человек: это был Спирия-юродивый. Из своей подземной засады, из «печерушки», он высмотрел, что враги подкопались под самую стену. Он видел, что готовится что-то. Когда он из своей засады, напугав стрельцов словами «Я, Спиридон Иванов, сын Хилков, здесь», пробрался в монастырь и оттуда на стену, он увидел, что лестницы были уже приставлены, а стрельцы взбирались по ним. Выждав, чтобы они подобрались выше, он разбудил часового, стоявшего у востовой пушки, и, велев ему приложить фитиль к затравке, остановился у самого края стены.

Пушка грянула... Дрогнули лестницы, сверху донизу покрытые стрельцами, и стрельцы дрогнули. Подняв головы, они, при свете северной весенней ночи, с ужасом увидели наверху, над самыми их головами, страшного человека с черепом в руках...

– Я, Спиридон Иванов, сын Хилков, здесь, а вот жена голова! – раздался знакомый стрельцам голос, который еще недавно привел их в ужас.

Вслед за возгласом сухой костяк черепа с треском ударился о голову Чертоуса.

– Ох, батюшки! Мертвец! Это он! – И Чертоус навзничь полетел с лестницы.

Неожиданный пушечный выстрел, страшный возглас со стены, отчаянный крик и падение Чертоуса произвели общее смятение: на стрельцов напал ужас, они падали с лестниц, сбиваемые верхними товарищами и увлекая нижних...

– Батюшки! Мертвецы на стене! Нечистая сила! – слышались испуганные крики.

За ними следовали стоны падающих и разбивающихся о камни, напарывающихся на острия копий и бердышей. Стрельцы, раненые и здоровые, падали один на другого, давили раненых, душили своею тяжестью здоровых, упавших раньше. Кучи народу, кричащего и стоющего, барахтались под стенами. А на стенах не умолкал страшный голос:

– Я здесь! Сарынь на кичку! Го-го-го-го! Здесь, здесь я!

Когда монастырские ратные люди и черная братия, всполошенные востовой пушкой, выбежали на стену, те из стрельцов, которые не были ранены при падении или не получили никаких тяжелых повреждений, успели спрятаться за окопы, а те, что были ранены или тяжко ушиблись, отчаянно металась под стеною и стонали.

Старый Никанор, выбежавший на сполох в одном подряснике и босиком, поняв, в чем дело, широко перекрестился и поклонился до земли юродивому.

– Господь Бог наградит тебя на небесах, и святая обитель будет молиться за тебя вечно! – сказал он, целуя руку юродивого.

Но тот вырвался и побежал к лестницам.

– Ох-ох-ох! – кричал он. – Головушка моя упала! Охте мне, о-о!

И он стремительно стал спускаться со стены по лестнице. Все с недоумением смотрели, что из этого будет. А что, как стрельцы опомнятся и схватят его? Но юродивый недолго оставался под стеною: он поднял что-то с земли и снова стал взбираться по лестнице... В руках у него оказался знакомый всем череп...

Скоро ратные люди втащили на стену все лестницы осаждающих. Ударил колокол, и братия сыпанула в собор, словно пчелы в улей, служить благодарственный молебен.

ХІІ. ИСПОВЕДЬ КНЯЗЯ МЫШЕЦКОГО

После такого вторичного неудачного приступа осада монастыря снова затянулась на неопределенное время. Воевода Мещеринов, опасаясь, что за этим проклятым «Соловецким сидением» его русая головушка успеет подернуться инеем седины, бил челом о подмоге ратными людьми, и к нему прислали в помощь около восьмисот свежих стрельцов, двинских и холмогорских. Поглядели и эти стрельцы на серые стены, по которым от времени до времени двигались темные тени, посмотрели, покачали головами и в душе пришли к тому же заключению, что и прежние: «За что, мол, про что старцев божьих тревожат? Вон как голосно за стенами звонят святые колокола, молятся, знать, старцы, не дурно какое чинят, а Богу работают... вон и голубки над монастырем полетывают, и ластушки-касатушки вокруг церквей пореивают, таково хорошо там, а мы разорять их пришли али мы нехристи?»

И потянулась вялая, неохотная осада, потянулось бесконечное время. Лето же, как назло, выдалось жаркое, душное, парящее, какое только способен создать сырой, водянистый Север. Стрельцам почти постоянно приходилось проводить время в окопах, в сырых и душных землянках, и только по ночам они могли выползть из своих берлог, чтобы подышать воздухом; а то покажись только днем, так со стен монастыря того и гляди угостят пулей, а соберись стрельцы кучкой, так и галанскими орехами черная братия попотчует. И из-за чего, думалось стрельцам, вся эта истомка? Чем провинились старцы? Что крестному-то истовым крестятся, не шепотью, так вина эта не больно винная: эта вина не в вину. Недаром отцы и деды двумя персты крестились, а они были не глупее сынов-от да внуков своих. Да и то сказать: так оно со старины повелось, так бы ему и стоять. Дак нет! Завелись умники: знаем-де на чем свинья хвост носит. Эко диво! Али московские чудотворцы: Петр, Алексей, Иона и Филипп шепотью крестились, что в святые угодили, у Христа в переднем углу сидят? Да и кто ныне пристал к этим новинам? Али люди? Самые что ни на есть дрянные людишки, вот кто пристал к новинам к этим. Кому все равно, как ни молись, тот на эти новины пошел, кто и в церкву-то мало хаживал, али кому выслужиться захотелось, на виду стать, вот кто эти новинники. Статочное ли дело свою веру менять! Кто в своей вере не крепок, тот царю, как и Богу, плохой слуга: дурно у него на уме, корысть, а не вера. Стояла допрежь сего Русь на двух перстах, а как она будет стоять на трех, про то бабушка надвое сказала. Вот хотя бы взять самих нас, стрельцов. Коли мы не хрестьяне были? Коли мы за церковь да за великого государя не стояли? Мы и теперь стоим, да только хромлем, вот что! Мы крест целовали служить великому государю верой и правдой: мы крест целовали по-старому, истово, на двух перстах, а не на трех. А теперь велят молиться тремя персты. Али это дело? Ну, и молимся супротив шерсти, велено, так не ломать же крестного целованья в угоду сатане. А сунься-ко дома с тремя персты, так бабы, стрельчихи, рогачами ребра пересчитают, а то и хуже: на постель тебя баба к себе не пустит. Баба не то что наш брат мужик: нам, случается, и лба недосуг перекрестить, а баба ни-ни! Баба божья работница, баба блюдет старую веру и соблюдает ее. А поди, заставь бабу креститься по-новому, так она и скажет-зась! А то на! Старцы вон нам поперек дороги стали, чудеса, да и только.

Так рассуждали стрельцы своим простым умом, не догадываясь, конечно, что эта неразумная борьба против родных братьев, оставшихся верными старой обрядности, потянется на столетия, что она станет источником великих преступлений и бесчеловечных жестокостей со стороны тех, которых стрельцы называли «дрянными людишками», что эти «дрянные людишки» прольют потоки русской крови, и прольют бесплодно, что, наконец, это «Соловецкое сидение» растянется на сотни лет и что в этом «сидении» очутятся не одни соловецкие старцы, а целая половина России: эта половина России – так называемые «раскольники», «старообрядцы», которые в конце концов все-таки останутся победителями, потому что Россия, слава Богу, начинает уже понимать, что борьба ее с расколом обошлась ей дороже всех войн,

начиная с Отечественной войны 12-го года и с Крымской и кончая последней турецкою, что в войне с расколом Россия потеряла не пять и не десять миллионов, а «тмы тем», и все-таки, говоря иносказательно, не взяла ни одной раскольничьей Плевны, и не возьмет: «Соловецкое сидение» будет продолжаться вечно, если Россия не снимет осаду с раскола и не прекратит своей «Отечественной войны»...

* * *

В келье на жестком деревянном ложе, на которое брошена кошемка, мечется в жару старый чернец. Густые, с сильной сединою волосы, растрепанные и местами сбившиеся, словно неваляная и немытая шерсть, падают на лицо и на раскрытую грудь, на которой видно большое серебряное распятие. Разметанные члены, широкие костлявые плечи и грудь изобличают, что когда-то это была мощная фигура. Горбоносое с высоким лбом лицо, глаза, теперь болезненно притухшие, очертание губ, подбородка, все невольно подтверждает давно ходящую в монастыре молву, что чернец Зосима, который теперь мечется на болезненном одре, не простой чернец, не худородный, а роду княжеского, только каких князей, никто не знал: он давно пришел в монастырь, внес богатый вклад в монастырскую казну золотом, серебром и дорогими камнями и постригся под именем Зосимы, тезкою стал преподобному Зосиме-Савватию.

Несколько дней тому назад старец Зосим и Спирия-юродивый, ревнуя об освобождении святой обители от нового Мамаю, так величали воеводу Мещеринова эти два старца, забрали себе в голову смелую мысль: пойти по стопам приснопамятных иноков Пересвета и Осляби и так или иначе добыть нового Мамаю. Для этого они ночью вышли из монастыря и, никем не замеченные, добрались до стрелецкого стана. Стрельцы спали. Спали даже часовые. Зосима и Спирия подползли к палатке воеводы и только было хотели войти под полог ее, как проснулась спавшая у самого входа в палатку воеводская собака, залаяла на ночных посетителей и разбудила воеводу. Озадаченные неожиданностью, услышав тревогу во всем лагере, старцы должны были поспешить назад в монастырь... Из воеводской палатки раздался выстрел, – и Зосима, вскрикнув и схватившись за бок, был подхвачен сильными руками юродивого.

Зосима находился между жизнью и смертью. «Безребрая», как выражался Исачко-сотник, уже махала косою над головой раненого, только Спирия «ей, шельме, тертого хрену подносил», и она бегала от Божьего человека, как черт от ладану.

Окна в келье открыты, чтобы легче было дышать больному. Откуда-то, должно быть с монастырской стены, доносится полупьяное напеванье:

*Ах ты, шапка, ты, шапка моя,
Одного сукна с онучею...*

Это Исачко, от скуки подвыпивший, сидел на затинной пищали, глядел на море и мурлыкал свою любимую песенку: ратным людям дозволялось выпивать вне правил монастырского устава об «утешении».

«Ти-ти-вик! Ти-и-вик!» – пропискнула ласточка. Спирия, сидевший около раненого в глубокой задумчивости, поднял свою косматую голову. Ласточка, влетевшая в окно, села на засохшие прутья освященной вербы, заткнутые за образа, и поглядывала своими изумленными глазками.

Раненый открыл глаза и блуждал ими по потолку. «Ти-и-вик! Ти-и-вик!»

– Это ее душенька, – как бы про себя пробормотал раненый.

– Чья? – спросил Спирия тихо.

– Ейная... Она за моей прилетела.

Спиря перекрестился. Снова тихо в келье. Косые лучи солнца сквозь открытое окошко падали на лежавшее на маленьком аналое, рядом с Евангелием, распятие. Там же лежал и знакомый нам череп.

Ласточка снялась с вербовых прутьев, покружилась по келье и с писком выпорхнула за окно. Раненый открыл глаза.

– Это к моей смерти, – сказал он и поглядел на юродивого осмысленными глазами.

– В животе и смерти Бог волен, – отвечал последний.

– Нет, мой конец пришел... Конец приближается... Будет, пожито... гораздо пожито...

Раненый перекрестился и снова взглянул на юродивого.

– Не хочешь ли испить? – спросил последний.

– Хотел бы...

Юродивый поднялся, чтобы подать кружку с питьем.

– Нет, не того, – отрицательно покачал головою больной.

– Чего же тебе?

– Крови бы пречистой...

Юродивый посмотрел на него с удивлением: не бредит ли-де? Нет, не бредит: глаза глядят разумно, жар прошел.

– Христовой бы кровушки перед смертью, – пояснил больной.

– Причаститься захотел?

– Да, душа алчет и жаждет... Исповедай меня, брате святой.

Юродивый задумался. Он вспомнил слова архимандрита, когда изгоняли из монастыря Геронтия с попами: «Будем друг у дружки исповедоваться перед лицом Господа, как кринны сельнии исповедуются»...

– Добре, брате, кайся Господу, – сказал он и встал. Затем, встав перед аналоем на колени, он начал читать предисповедную молитву. Больной тихо повторял за ним: «Се ми одр предлежит, се ми смерть предстоит, суда Твоего боюсь», – слышались молитвенные слова, которые иногда перебивал доносившийся со стены монотонный напев:

Ах ты шапка, ты, шапка моя...

– Великий грех у меня давно лежит на душе, тяжкий грех! Ох, какой тяжкий! – начал больной после молитвы. – Сорок лет, словно жернов на шее, волоку я этот грех и доволоку до могилы. Ни днем, ни ночью, ни во пиру, ни в беседе, ни за четьем-нетьем церковным, ни за келейною молитвою не отваливался от моего сердца этот горяч алатырь-камень... Вот так и стоит предо мною, кровавая, и шепчет: «За что погубил меня? Куда девал мою голову? Ох, тяжело! Смертушка моя, как тяжело!»

Он помолчал, как бы собираясь с силами. Юродивый тоже молчал, хотя губы его шевелились. Ласточки задорно щебетали за окном, как будто силясь одна другую переговорить, словно бы у них шла речь о предметах такой важности, как сугубая аллилуйя.

– Был я княжова роду, воеводин сын – княжич и воеводин, – продолжал больной, тяжело вздохнув. – Рос я в воле и воле, не ведал сызмальства ни судержу, ни суперечины, был батюшковым любимым сынком, а у матушки мизинчиком. Таким и вырос, таким и до окаянства дошел. Из воеводинича и княжова сына я сам стал воеводою и князем: лет сорок тому будет, как я воеводою назначен был. Послан я был в те поры на воеводство в Муром...

– В Муром! – изумленно перебил его юродивый,

– В Муром... И спознался я в те поры с некоею женою благородною. Муж ее числился в моем полку, да только все обретался в нетях. И как спознался я с тою женою, и нача мя искушати бес, нагнал на меня слепоту и окаянство лепоты ради женки той: «Убей, говорит,

мужа и возьми себе жену». День и ночь в бдении и тонце сне не отходил от меня бес: «Изведи да изведи мужа того».

– Муж тот был из роду Хилковых? – спросил юродивый глухим голосом.

Больной испуганно приподнялся на своем ложе и так же испуганно глядел на юродивого.

– Ты почему знаешь, что он был Хилков? – спросил он в свою очередь.

– Знаю, – был короткий ответ. – Кайся дале...

Голова больного снова опустилась на изголовье, и он глубоко вздохнул.

– Вижу, что тебе Бог все открыл, – продолжал он более покойным голосом, – и мое наказание дойдет до Бога твоими молитвами, человеке святой.

– Не говори этого, – строго перебил юродивый, – я – сосуд сатанин, и грехам моим несть числа.

– И будь по-твоему... – Больной снова тяжело вздохнул и продолжал: – Обошел меня бес, распалилась плоть моя окаянная, и я положил в душе извести того человека.

– Спиридона Иванова, сына Хилкова, мужа Настенькина? – подсказал юродивый.

– Ты и ее знаешь? – вздрогнул больной.

– Знал... ну!

– Ну, пришел я к ней однажды ночным временем, и утаились мы с нею в саду, и стал я ее к своему злему умыслу приводить, чтоб Спиридона извести... И вдруг словно архангел мечом поразил меня... Дальше я ничего не помню, опамятовался уже я утром, когда солнышко вошло, и увидел около себя ее...

– Настасью Хилкову?

– Настасью. Увидел ее на траве, мертвую. А голова у нее от туловища отрезана, и где девалась, не ведомо...

– Вот она! – неожиданно сказал юродивый и поднес к больному череп. – Смотри, узнаешь?

Больной глядел испуганно, ничего не понимая. Он посмотрел в глаза юродивого: в них теплилось что-то кроткое и тоскливое,

– Это она, Настенька, моя жена, а твоя бывшая любовница... Поцелуй ее теперь, как в те поры целовал, князь Захар, князь Остафьев, сын Мышецкой... – Это говорил юродивый, поднося к губам больного страшный костяк...

На лице больного изобразился ужас. Челюсти его дрожали. Дрожали и волосы, прилипшие к потным вискам.

– Кто ж ты сам? – шепотом спросил он, отворачивая лицо от костяка.

– Я – Спиридон Иванов, сын Хилков, боярский сын и воровской атаман, а ныне соловецкий трудник.

Больной застонал и лишился сознания. Юродивый, став на колени перед аналоем, шептал:

– Господи! Прости ему, не вмени ему во грех...

А со стены доносилось бессвязное пение:

Одного сукна с онучею...

Ласточка опять влетела в окно, села на сухих прутиках вербы и весело пропискнула...

ХИИ. РОКОВЫЕ КАЧЕЛИ

К западной стороне монастырской ограды, за поварнею, на втором дворе, где находились сушилы, поставлены новенькие качели. Соорудил их все тот же великий художник, городничий старец Протасий, для общей любимицы Оленушки. Скучать стала Оленушка в монастырских стенах, в этом нескончаемом осадном сидении, так заскучала, что даже с лица спадать стала, алый румянец со щек, словно заря с зимнего студеного неба, сбегать начал, и стала она то на молитве в церкви задумываться, то по целым часам сидела на завалинке у своей кельи, глядя неведомо куда; то замечали старцы, что у нее будто глаза заплаканные и смех не так звонок. И стало жаль старцам своей «девыньки-мизинчика», своего монастырского «серебряного колокольца», что звонил своим серебряным голоском среди угрюмой скитской тишины, и надумали старцы устроить для своей любимицы забавочку, качельцы в ограде поставить. Хотя бы оно и зазорно монастырю такую затейку затевать – качели ставить в стенах святой обители, да еще и в осадном сидении, только ведь не для брата была эта затейка, для отроковицы невинной. «Она-де, отроковица, пред Богом светла и чиста, аки свечечка воскояровая пред образом, – говорил старец Протасий, – так пушай-де и качается душенька отроchte на качельцах, что кадилицо перед Господом: не возбраняйте-де и сим ничто же, сих бо есть царствие Божие»... Старец Протасий любил «поговорить от Писания:», хотя и знал всего-то Писания от «малбех» до «лядвия моя наполнишася поругания», а на «слово-титлах» всегда спотыкался...

Вот и соорудил старец Протасий для Оленушки качельцы, да такие ли знатные да пестротою измечтанные: по белому столбу да полоса синяя, да полоска красная, да ополосочка лазоревая, а там опять синяя да лазоревая, а дале зеленца подпущено, да алые зубья, да киноварь, ажно глаза рогом лезут, как долго поглядишь на эту пестрину. А веревочки старец приладил аховые, пенька новгородская, первый сорт; а чтоб ручки Оленушка не потеряла о пеньку, старец Протасий не пожалел своей старой бархатной скуфейки, изрезал скуфейку и обшил ею те места веревки, за которые должны были держаться нежные Оленушкины ладонки. И сиденье вытесал старец гладкое, дубовое, из той доски, что на гроб себе смиренный Протасий припас, да излишек остался, испостился и высох так старец, что гроб надо было переделать в узенький гробишко, а от крышки гробовой можно было отпилить лишки на Оленушкины качельцы. Зато и рада была Оленушка: так и повисла на сухой шее добренького дединышки Протасьюшки и так расцеловала его бледную лысину, что инда краска на ней выступила... «То-то, молодешенько-глупешенько», – шептал старец, смахивая шальную слезу с ресницы и вспоминая что-то очень далекое и очень милое, подернутое серою пеленою времени. А на вершине качелей старец Протасий крестец малый водрузил из дерева кипарисового, да крестец истовый, осьмиконечный: «Оно, дело-то, прочнее живет, коли оно по-божески строено, коли его крестец святой осеняет, так-ту, девынька»...

И вот теперь «девынька», окрашиваемая косыми лучами заходящего солнца, качается на своих пестрых качельцах, словно русалка на гибких ветвях плакучей ивы. Оленушка качается тихо, сидя на дубовом сиденье и слегка придерживаясь руками за веревки. Плавно скользит длинная тень ее по зеленой мураве монастырского двора, перекидываясь с травы на белую стену поварни. Так же плавно вместе с Оленушкой двигается, раздуваясь в воздухе, подол ее голубого сарафанчика, из-под которого выглядывают белые чулочки и малиновые юфтовые, казанского шитья, черевички. Вслед за нею реет в воздухе своими двумя концами алая ярославская лента, вплетенная в русую косу. Оленушка качается как бы машинально, потому что лучистые глаза ее то безмолвно и задумчиво глядят неведомо куда, то так же задумчиво опускаются вниз...

А внизу, на траве, опершись спиной о столб качельный, сидит молоденький служка Ири-неюшка, тот самый, что на святках плясал в поварне за бабу, и плетет корзинку из сухих мор-

ских водорослей. Черная скуфейка его брошена на траву, а черные, как вороново крыло, густые и длинные волосы, спадая на спину и плечи, заставляют думать, что это сидит девочка с распущенной косой. Он по временам поднимает свои черные, с большими белками, ласковые глаза на качающуюся девушку и снова опускает их на работу.

– И тебе кручинно здесь в монастыре? – спросила девушка, продолжая начатый разговор и не глядя на своего собеседника.

– Так кручинно, так уж кручинно, что хоть в море, так в пору, – отвечал последний, не поднимая головы. – Уж бы скорее стрельцы нас взяли!

– Ох, что ты! – испуганно прервала его девушка.

– Что! Все легче, нечем так-ту.

Оленушка ничего не ответила; она только тяжело и продолжительно вздохнула. Над монастырем пролетела чайка и словно бы проплакала в тихом воздухе.

– Вон ей лучше... она птица, а не человек, – как бы про себя проговорил Иринеюшка.

– И то правда, – согласилась девушка и снова вздохнула.

Из-за ограды, должно быть, с берега, ясно доносились слова заунывной песни:

*Что кукует кукушечка и день, и ночь,
Ни на малый час перемолку нет...*

– Стрельцы поют... у них весело, – тихо проговорил Иринеюшка.

Оленушка не отвечала: она вслушивалась в пение, голос такой хороший, кручинный...

*Разорил сокол ее гнездышко,
Разогнал ее малых детушек.
Малых детушек кукунятушек.*

– Эх! Умереть бы, Господи!

– Что ты! Что ты, Иринеюшка!

– Э! Так-ту маяться!

Девушка перестала качаться. Глаза ее упали на черную, низко наклоненную голову молодого послушника.

– Для чего же ты пошел в монастырь, коли теперь... – спросила было она и не договорила.

– Меня матушка отдала, – грустно отвечал юноша.

– За что?

– А так... за батюшку... Богу посвятила...

Оленушка глядела на него с удивлением: она не понимала того, что говорил он.

– Богу? Как посвятила?

– По обету... обет такой дала, давно, я тогда был еще тахеньким... Батюшку в те поры послал царь с ратными людьми на воровского атамана, на Стеньку Разина...

– А кто твой батюшка? – спросила Оленушка, заинтересованная словами юноши.

– Борятинский-князь, Юрье Микитич...

– Так ты княжич? – спросила изумленная девушка.

– Был княжич, а ноне служба... кошели плету.

Голос у юноши дрогнул... Задрожали и пальцы, которыми он сплетал гибкие нити морской травы.

– Ах, бедненький! – невольно вырвалось сожаление у Оленушки. – Как же это матушка твоя отдала тебя сюда? И не жаль ей было?

– Жаль, да что поделаешь? Богу обещала, коли-деи Бог воротит батюшку из похода жива, так отдам-деи Богу сына... Ну и отдали. Стенька-то уж больно страшен был. Как батюшка ушел

из Казани против Стеньки к Симбирскому городу, так мы с матушкой и всей Казанью день и ночь Богу молились.

– Что ж, воротился батюшка?

– Воротился... Стеньку на Москву отвезли и там сказнили, а меня вот сюда...

Слезы невольно брызнули из глаз юноши и полились на его жалкое плетение. Он припал лицом к ладоням и плакал. Оленушка не могла выносить этого и, соскользнув с качелей, стала на колени около плачущего юноши.

– Не плачь, Иринеюшко... не плачь, княжич, – всхлипывала она сама.

Иринеюшка заплакал еще сильнее.

– Княжич, голубчик, не плачь!

И девушка гладила волнистую голову юноши. Тот не унимался, а, напротив, почувствовав ласку, услышав участные слова, уткнулся лицом в колени и плакал навзрыд, как бы сияясь вылить всю размягченную посторонним участием душу. Слезы брызнули и у Оленушки.

– Господи! Да что ж это такое! – всплакалась она, сияясь приподнять голову юноши.

Тот продолжал качать головой, как бы от нестерпимой боли, и не переставал плакать. Оленушка припала к нему лицом и обхватила его.

– Княжич мой! Роденький! Не надо! Не надо, миленький! – страстно молила она.

Он приподнял голову, не отнимая мокрых пальцев от лица. Девушка обвила руками вокруг его шеи, прижалась лицом к его лицу и в забытии шептала, целуя его руки и щеки: «Милый! Дорогой! Братец мой!»

Она не заметила в этом страстном порыве жалости, как его руки отнялись от лица и обвились вокруг девушки, а горячие губы бессознательно соединились... «Сестрица! Оля моя! Ягодка!» «Братец мой! Княжинька!» – И губы снова сливались, слова замирали...

– Ну, вот! – как бы опомнилась Оленушка, вся красная. – Вот теперь ты не плачешь! Ах, как я рада!.. Знаешь что?

Иринеюшка смотрел на нее молча и, казалось, ничего не понимал.

– Знаешь что? – торопливо, радостно захлебываясь, говорила Оленушка. – Когда ты будешь совсем большой... который тебе год теперь? – спросила она, перебивая себя.

– Шестнадцатый, – машинально отвечал Иринеюшка.

– А мне уже семнадцать, я старше... Так вот, как ты вырастешь совсем большой, так тогда возьми и уйди из монастыря... Да, уйдешь?

Иринеюшка молча покачал головой.

– Отчего же? А?

– Нельзя... Монастырь что гроб.

– Ну, вот еще!.. А то княжич, княжой сын, и кошелки плетет, ах!

И Оленушка звонко и весело расхохоталась. Иринеюшка молча любовался ею. Оленушка вдруг подошла к нему и стала играть его шелковыми волосами.

– Ишь, словно у девочки коса... Ах, как смешно! – болтала она. – Дай я тебе заплету ее и свою ленту вплету в косу, вот и будешь княжна, княженецка дочь, ах!

И она повернула его за плечи и стала плести ему косы. Иринеюшка невольно повиновался шалунье.

Черная коса была вмиг заплетена.

– Вот так-ту... уж какая большая коса-косынька!.. А теперь ленту надоть... – И она выплела алую ярославскую ленту из своей косы и вплела ее в косу Иринеюшке.

– Ах, как хорошо! – Она повернула его к себе лицом. – Ах, какая хорошенькая девочка! Ах, княжецкая дочь!

Иринеюшка не шевелился, он стоял как очарованный.

– Ну, что ж ты молчишь, царевна Несмеяна! – приставала к нему Оленушка. – Ну! Покачай меня.

И она, взяв его за плечи, подвела к качелям:

– На, держи, а я сяду.

Усевшись на дубовое сиденье и ухватившись руками за веревки, она вдруг зачастила тоненьким голоском:

*Ох и токи-точки,
Уж и дайте лучки
На баране клочки.
Перебить клочки
На полсточки,
На подметочки.*

И вдруг весело засмеялась:

– Качай же! Ну! Княженецка дочь, ну, живо!

Иринеюшка повиновался: он качнул ее раз, два, в третий сильнее и отошел в сторону... Оленушка взвилась, весело сверкая глазами...

– Ай да дедушка Протасьюшка! Ай да миленький... Еще, еще, шибче, поддай!

В это время из-за сушил показалась черная скуфейка и острая седая бороденка старца Протасия. При виде смеющегося личика Оленушки старые, запавшие, но все еще плутоватые глазки старца блеснули добротой, и он, не желая испугать ребят и помешать их забаве, снова юркнул за сушилы.

– Еще, еще, миленький княжич! – настаивала Оленушка.

Иринеюшка снова поддал. Размах делался все шире и шире. Оленушка взлетала до самой перекладины. В воздухе раздувался подол ее сарафана да мелькали малиновые черевички да белые икорки в чулочках.

– Душечка! Еще выше! Я хочу, чтобы голова закружилась! – умоляла она.

Иринеюшка, весь пунцовый от натуги, со всего размаху толкал летающую мимо него доску, и Оленушка взвивалась все выше и выше.

– Ох, хорошо! Ох, как хорошо! Еще!

– Будет, страшно...

– Нет, еще! Сердце замирает...

– Упадешь, убьешься.

– Ох, я словно в раю... голова кружится... Ох, ох, падаю... – Она была бледна...

Иринеюшка схватился за доску, но она увлекла его, и он упал на землю. Сила размаха, однако, ослабела. Иринеюшка вскочил с земли и снова ухватился за доску. На этот раз он остановил ее и только хотел помочь Оленушке встать, как она без чувств упала ему на грудь. Он обхватил ее и вместе с нею опустился наземь. Голова ее упала к нему на плечо...

– Оленушка! Что с тобой! Милая!

Она не отвечала. Юноша поднял ее голову и, увидав закрытые глаза девушки, бессознательно припал губами к ее холодным губам...

– Душечка! Оленушка! Ох, Господи! Она умерла! – с ужасом вскричал он, опуская на траву тело девушки.

– Кто умер? Ах! – раздался сзади чей-то испуганный голос.

Иринеюшка вздрогнул, перед ним стоял Спирия-юродивый – бледный, испуганный.

– Что это! Это ты ее! – вскрикнул он не своим голосом. – Что ты с нею сделал?

– Это не я... нет, убей меня Бог, не я... она сама... она высоко качалась...

– Упала? Убилась?

– Нет... сомлела...

Юноша приблизил свое лицо к самому лицу девушки, ломая руки.

– Оленушка! Оленушка!

– Ты убил ее, окаянный, – хрипло проговорил юродивый, становясь на колени. – Ты убил ее!

– ...Нет, нет! Я сама...

Это Оленушка: она открыла глаза и, встретив взгляд наклонившегося к ней Иринеюшки, обвила руками вокруг его шеи...

– Это не ты, не ты, – я сама... Мне ничего, милый мой княжич!

Приподнявшись немного, она увидела юродивого.

– Дедушка! Миленький! Не сердись, я не убилась... Он, он ничегошеньки не виноват...

Юродивый быстро перекрестил ее, но, увидав ленту в косе у Иринеюшки, невольно улыбнулся и покачал головой.

– Ах вы, дурачки мои, дурачки, и сердиться-ту на вас нельзя... Как есть дети, – пробормотал он и махнул рукой.

Между тем из окна поварни за всем этим давно наблюдали два черных, блестящих глаза. Лицо наблюдавшего подергивалось злорадною улыбкой, а красные мясистые губы шептали: «А! Умеешь целоваться... да еще как, взасос! Ишь, смирена, недотрога! А тут, чу, „миленький, душечка, братец“. То-то!.. Уж жив не буду, а достану тебя, кралю: будешь моя...»

XIV. «А ВСЕ ИЗ-ЗА ПУЧЕГЛАЗОЙ...»

Инок Феоктист, или попросту чернец Феклиска, давно был одержим бесом Фармагеем, как выражался архимандрит Никанор. Бес этот не давал ему покоя, постоянно развертывая перед его мысленными очами соблазнительные картины то в образе толстотелых баб-кемлянок, то в образе самой Вавилкиной-попадейки, тоже бабы сдобной, как папушник, то, наконец, в виде беленькой и пухленькой Оленушки, что цыпочкой семенила ножками в малиновых черевичках по самой, кажись, по душе Феклискиной. И прежде Оленушкин образ не давал ни спать, ни молиться Феклиске: так и стояла она у него поперек сердца чернецкого. Но еще когда можно было вырваться из скучной обители в Кемской, Феклискино горе было с полаторе: заберется, бывало, удалой горюн черноризец в посад на государево кружало, маханет свою распостыльную скуфейку под лавочку, тряханет своими «чесными власами», миганет своими буркалами бесстыжими бабе-прелестнице, подопрется фертом в боки и, чувствуя в себе «криле яко голубине» и «юность яко орлю», саданет по кружалу с приговором, «по складам»:

*Буки-аз-ба,
Ведн-аз-ва,
Глагол-аз-га,
Добро-аз-да!*

Так кемляне только ахают, а бес Фармагей во образе целовальника облизывается от удовольствия. Когда же настало сплошное сидение, когда осада обложила монастырь на лето и на зиму и когда не только в Кемской, где бабьим духом пахнет, но и за ворота нельзя было показать носа, чтоб не наткнуться на проклятых «агарян»-стрельцов, Феклиска почувствовал себя окончательно в «сени смертей» и в «юдоли плача» и стал «яко лев рыкай, иский кого поглотити»: конечно, бабу.

И вот тут-то бес Фармагей указал ему на Оленушку. Феклис и сам давно на нее зарился. Еще как только появилась она в монастыре, вместе с матерью и в сопровождении аглицкой немки Амалеи Личардовны Простреловой и галанского немца Каролуса Каролусовича, Феклис уже начал подходы делать к светлоглазой отроковице. Но отроковица, по-видимому, не понимала его, не видела, как он «мрежи запускал», а старая Неупокоиха очень хорошо видела, куда гнет черноризец, и держала ухо востро. Притом же самому Феклису казалось, что Оленушка слишком еще глупа и не знает, где раки зимуют. Но когда он из поварни увидел, как она с Иринеюшкой сама раков ловила под качелями, то решил во что бы то ни стало добиться своего. Но как добиться? Он об этом долго думал, раскидывал и так и сяк, пока не дошел до нового решения и самого, казалось, верного.

Решение это стоило гибели монастырю...

Как некогда Троя погибла ради прекрасной Елены, так и «Соловецкому сидению» приготовила трагический конец, сама того не ведая, Оленушка... Женская красота – великая сила: она миром правит...

Все лето 1675 года стрельцы не уходили из-под стен монастыря, но и монастыря не брали: видно было по всему, что у них «рука не подымалась в своих», что стрелять в людей и особенно в мирных богомольных старичков за то только, что они крестятся истово, по старине, по-московски, как крестились и сами стрельцы и их жены, стрелять в таких людей казалось совсем богопротивным делом, и всякий раз, когда воевода вел их на приступ, стрельцы морщились или лениво почесывали затылки. Мещеринов видел это, видел бесполезность летних осад и пошел на хитрость... «Ну, – думал он, – я вам, бабиным сынам, покажу Кузькину мать: я вас доеду не мытьем, так катаньем. Теперь вам тепло, вольготно на солнышке порты да онучи

сушить да с кемлянками вожжаться, а как придет зима, не в ту дуду задудите, теперичушки уж не поведу вас в Сумской зимовать, на печи животы парить, зимуй здешатка. Захотите, ешь мухи, погреться в монастыре, тады и на вороп пойдете»...

И действительно, пришла осень, наступили холода, пошли заморозки, сиверко так по ночам, что кочи стали примерзать к берегам, а воевода не ведет стрельцов в Сумской: сыч сычом сидит в своей палатке из кошом, да еще и печку себе чугунную измыслил...

– Ишь, чертова ладоница! – ворчал Кирша-полуголова. – Ему тепло, дуй его горой с полугорьем, а каково нам! Онучи к подошвам примерзают.

– Ну, ин в монастырь греться, – намекал Чертоус.

– И впрямь, братцы: с голоду да с холоду и Ивана Великого запалить так в пору, – подтверждали стрельцы.

На эту безысходность положения и рассчитывал воевода. Он знал, что зимой, в суровые холода, когда птицы на лету замерзают, а дыхание превращается в иней, стрельцы волей-неволей захотят погреться в монастыре.

Перед Никольскими морозами воевода объявил стрельцам, что он в последний раз хочет вести их на вороп.

– Так ли, сьяк ли, ребятушки, а погреться надоть – пояснил он коварно, – а в монастыре, у старых чертей, у-у кака теплынь по запечью?

Стрельцы принялись делать подкопы в мерзлой земле. Приходилось работать больше топорами да пешнями. До седьмого поту работали стрельцы да лаяли воеводу:

– Эх, вор-собак! Чтоб ему эдак-ту могилу себе копать.

– Без попа б ему, без ладону, без свечей, без савану!

Особенно шибко захотелось стрельцам попасть в монастырь, когда подступили рождественские святки. Шутка ли, святки на морском берегу, на снегу да под метелями! Да это собачьи святки, хуже! И собаке хозяин в праздник кость выбрасывает, и помои для нее в праздник праздничные. А тут на! Мерзни на снегу весь день, глядучи на постылое море, а ночью считай сполохи. Да эдак с тоски да с кручины повеситься можно.

За день до праздников стрельцы не вытерпели и приступили к воеводе:

– Веди нас, отец родной, на вороп, а то помрем наглою смертью! – зывал Кирша.

– Веди хоть на черта, все едино помирать! – раздавались другие голоса.

– И впрямь подыхать пришло, братцы!

– На вороп! К бесу их, долгогривых! Чего глядеть!

И стрельцы пошли на приступ. Это было 23 декабря.

Утро выдалось ясное, не особенно морозное. Обледенелые стены, башни и зубцы на них сверкали самоцветными камнями. Из-за стен в разных местах виляя неровными клубами дымок к голубому небу. Голуби, вспугнутые перед этим с колоколен блавестом к утреннему стоянию, делали в воздухе последние круги и снова опускались на карнизы церквей и колоколен. Едва лишь солнце, выткнувшееся одним багровым окрайком из-за горизонта, позолотило кресты на монастырских церквах, как стрельцы уже почти вскарабкались на стены по лестницам, приставленным ночью, под покровом мрака, когда в монастыре этого, казалось, ни одна душа не подозревала. Вот-вот стрельцы взберутся на стены... Еще несколько усилий, и они там.

– Но-но-но, лошадка! – раздался вдруг голос над головами стрельцов.

Все вздрогнули испуганно и подняли головы. На стене, у самого края, юродивый, босиком и без шапки, скакал верхом на палочке, подстегивая себя кнутиком.

– Но-но-но, воеводская лошадка! – опять крикнул юродивый и остановился.

Невольно остановились и верхние из стрельцов. Ими овладел суеверный страх.

– Что, братцы, озябли? Штец горяченьких захотели? – снова окрикнул их юродивый.

– На вороп, ребятушки, на стену! – неистово раздался снизу голос воеводы. – Что стали, черти! Вот я тебя, куролесого!

И воевода выстрелил из ружья в юродивого. Ружье повисило, и пуля угодила в белого голубя, тихо опускавшегося на карниз соборной колокольни. Голубь опрокинулся в воздухе и комом слетел на церковную крышу, где и застрял в снегу.

– Ах, окаянный! Турмана ушиб! – послышался со стены отчаянный голос.

То был голос Исачки-сотника. Убитый воеводою голубь был его любимец – турман «в штанцах».

– Вперед, стрельцы-голубчики! Громи стены, дьяволы! – неистово вопил воевода у стены, поднимая руки к небу.

– Раз-два-три! – раздался окрик Исачка. – Катай, ребята, кипятком!

– Во имя Отца и Сына, ксти еретиков водою и духом! – кричал юродивый.

На стенах словно выросли черные фигуры старцев и ратных людей. В руках их дымились паром ушаты и ведра с кипятком.

– Лей разом! В очи лей!

– Плюнь на них, Господи, слюною Твоею, ею же горы огнем дышат! – крикнул Никанор, показываясь на стене с крестом в руках. – Плюнь, Господи, слюною Твоею огненною!

И Господь «плюнул»... Со стен полились, клубя и дымя, реки кипятку...

– Ай! Ай! О! Господи! Огонь! Смерть! – раздались отчаянные вопли стрельцов.

Поливаемые кипятком, они стремглав падали с лестницы, увлекая друг дружку. Крики были ужасные. Воевода метался как безумный, без шапки, и рвал на себе волосы.

Стрельцы бежали поголовно, покинув осадные лестницы и бросая оружие. Иные бросались в снег лицом, стараясь утолить боль ошпаренных кипятком носов, щек, лбов, рук, другие хватали комья снегу и терли им обожженные лица.

А Исачко, стоя на стене, хватался за живот и хохотал как безумный.

– Ох, умру! Ох, батюшки, лопну!

Смех Исачки заразил всю черную братию. Смеялись до слез. Даже старый Никанор не то смеялся, не то плакал истерически.

– Улю-лю-лю! Улю-лю-лю! Улепетывай, заячье московское! – раздавались голоса со стены.

– Похлебали штец монастырских, будут помнить.

– Ай да Спирия! А все он придумал, божий человек!

– Шапок-ту что пометали, братцы, страх!

Действительно: внизу, на снегу, чернелось несколько стрелецких шапок, оброненных при падении и в поспешном бегстве.

Торжество братии было полное. Это уже чуть ли не третью или четвертую грозу Бог пронес мимо монастыря, щадя своих богомольцев. Пострадал за всех один невинный голубок, утеха братии. Но в общей радости о нем забыли, и даже Исачко вспомнил о своем любимце, когда бедный турманок совсем закоченел, лежа на крыше кверху окровавленным брюшком и вытянув свои красные ножки, а около него сидела ворона и чего-то зловеще выжидала...

Один Феклис-чернец не принимал участия в общей радости. Он стоял на стене, хмурый и бледный, прислонясь к башне, и прислушивался к голосам, тихо разговаривавшим у самой стены, под башнею.

– Что ж, и отбили? – спрашивал женский голосок.

– Отбили... кипятком отлили, – отвечал юношеский голос.

– Ах, слава Богу!

– Ну, уж... лучше б осилили.

– Кто, они?

– Стрельцы, знамо.

– Ох! Чтой-то ты, Иринеюшка! Страх какой! Упаси Бог!

– Нас бы не обидели... Зато ворота настезь, вылетай из темной темницы...

– Ох! Чтой-то ты!

– Дело говорю... Мы бы с тобой знаешь что?

– А что? Говори – не томи!

– Вольные пташки... Ты в Архангельской, а я...

Голос смолк. Феклис напряженно прислушивался.

– А ты? – послышался робкий вопрос с дрожью в голосе.

– Я на Дон... Там вольная жизнь... Казаки сказывали, там всем бегунам рады.

– Ах, Господи! Как же так? Для чего на Дон?

В голосе вопрошающей слышались слезы.

– Куда же мне? Мне к родной стороне путь заказан, я, чу, отпет, заживо.

– Ах, Боже мой! Что ж это такое!

– Так, Оленушка... Уж так, чу, мне на роду написано, мертвой печатью припечатано...

– Господи! Да ты еще такой молоденький... ты... Вон я.

– Что ж, не пропаду... А пропаду, все же легче, чем тутока изнывать...

– А я-то!.. Княжич!..

Больше не было слышно. Казалось только, что кто-то всхлипывал...

Феклис мрачно сверкнул глазами...

– Ноне же ночью прокрадусь к воеводе, и будь что будет! – прошептал он и исчез в башне.

– И как он, Спирия-то, узнал, что стрельцы ноне утром на вороп пойдут? – слышались голоса черной братии, сходящей со стены.

– Как? Знамо: он святой человек, в сонях видит.

– В сонях, это точно... А не узнай он вперед в сонях-ту, что они, еретики, задумали, ну, и капут бы нам.

– О-о-охо-хо! И святок бы не дождались.

– А он, как и ни в чем не бывало: вона опять с своими голубями хороводится.

Спирия все слышал, разговаривая с голубями... «Не в сонях я видел, – думал он про себя, – а из своей печерочки все выглядел да подслушал... О печерочке-то никто не ведает, Оленушка одна знает, да и то не все».

Спирия жестоко ошибался: тайну юродивого знала не одна Оленушка; знал еще кто-то, и знал все...

– В сонях, то-то в сонях! – шептал и Феклис, сходя со стены. – И сония его не помогут; как я свою-то струну трону... Ух, загудит струна! А все из-за этой пучеглазой... Эх! Была не была!

ХV. ПЕРЕБЕЖЧИК

На монастырь спустилась ночь темная, непроглядная. Небо заволокло с запада мрачною пеленою, и бесконечная пелена эта, словно бы разодравшись от края до края, стала сыпать на остров тучи снегу. Он падал на землю тихо, ровно, не кружась метелью и не завывая ветром. Тишь стояла мертвая. Весь остров казался похороненным под снегом.

А между тем за одним из уступов монастырской стены, вдоль береговой покатости, где весной Оленушка сплетала венок из серо-зеленого мха, медленно двигалось что-то темное. Эта темная человеческая фигура как бы из земли, из-под снегу выросла. За падающим снегом ни лица, ни других очертаний этой тени нельзя было разобрать, но видно было, что она подвигалась к тому месту, где у небольшой губы, врезавшейся в остров, расположен был стрелецкий стан.

– Стой! Кто идет? – часовые вскочили со своих мест. – Кто ты?

– Ваше спасенье, добрые люди, – отвечала тень.

– Кто ты таков? Каков человек?

– Человек добрый.

– Зачем пришел?

– Это я скажу воеводе, ведите меня к нему.

– Ишь ты! Да ты чернец?

– Чернец и есть.

– Может, с подвохом с каким, с умыслом?

– Коли бы с подвохом, не пошел бы прямо на вас.

– А пес тебя ведает.

– Что пса в судьи брать! Ведите к воеводе, чего боитесь? Вас двоечка, а я один: у вас ружья да сабелье, а на мне один хрест.

– И то правда.

Подожли к землянке, занесенной снегом. Сбоку, под навесом, чернелось что-то вроде норы. Один из стрельцов нагнулся и постучал ружьем о деревянную подпорку.

– Кто там? – послышался голос.

– Мы, стрельцы с часов.

– За каким делом?

– Языка привели.

– Какого языка?

– Чернеца... Сказывает, чтоб к воеводе вели.

Из норы выглянула косматая голова. Это был Кирша, полуголова стрелецкий.

– Как пымали? – спросил Кирша.

– Не ловили, сам пришел, – отвечали стрельцы.

– За каким делом? – обратился Кирша к чернецу.

– За государевым, – был ответ. – Веди меня к воеводе, за мной есть государево слово и дело.

Кирша помялся было, взглянул на небо и почесал в затылке. Снег продолжал сыпаться как из рукава.

– Уж и времечко ж выбрал с «государевым словом и делом»! – досадливо произнес Кирша.

– Самое как быть время, – отвечал пришлец. – Добрый хозяин и пса в такую пору со двора не пустит; а я, как видишь, пришел, потому: мое дело – большое дело.

– И то правда, коли не врешь... Да там разберем... Постой тут, я мигом...

И Кирша юркнул в свою нору.

– Ну и наварил же ты варева, – заметил стрелец пришельцу.

– Не вам расхлебывать только, – отвечал последний.

Скоро Кирша выполз из норы в кафтане, в шапке и при сабле.

– Ступайте за мной, – обратился он к чернецу и одному из стрельцов. – А ты подь на свое место.

Все двинулись к берегу. Путь лежал мимо землянок, занесенных снегом и казавшихся могилами.

– Эх ево прорвало! – ворчал Кирша, отряхиваясь от снегу... – Вот сторонка, н-ну!

* * *

Увидав важное лицо у своего воеводы, Каргас очень обрадовался: значит, будет кричать на кого-нибудь, распекать (Каргаска очень хорошо изучил своего повелителя), а он, Каргаска, будет лаять... То-то весело!

– Цыц, ешь те волки! – прикрикнул воевода.

Кошма раздвинулась, и в палатку вступил чернец. Он разом окинул своими бегающими глазами всю палатку: в головах воеводской медвежьей постели стоял зеленый стяг с Егорьем на коне; тут же вблизи висели сабли и пистолеты; в одном углу стоял большой кованый сундук.

Феклис перекрестился на стяг и сделал поясной поклон воеводе.

– Ты кто таков и какого ради орудия пришел к нам? – важно, несколько с гнусом, спросил воевода.

Каргаска приготовился лаять, не спуская глаз с важного лица воеводы и косясь на пришельца.

– Соловецкого монастыря чернец Феклис, пришел ради государева слова и дела, – был ответ.

– Какое твое слово до великого государя?

– Челобитьишко, государь.

– А в чем твое челобитье?

– Вины свои принес я великому государю, – отвечал Феклис, низко кланяясь.

– А в чем твои вины?

– Дуростию моею и маломыслием пристал я, нищий ваш государев богомолец, к соловецким ворами и крамольникам.

– И того б тебе делать не довелось, и то тебе вина, – важно и строго заметил воевода.

– И аз, нищий ваш, чернец Феклиса, окоростовел с теми соловецкими ворами: дву-перстно сложение держал и сугубою аллилуею блевал.

– И того б тебе делать не довелось, и то тебе вина, – повторял воевода.

– И тем яз, нищий государев иночешко, великому государю, его царскому пресветлому величеству, учинил грубство.

– И того б тебе делать не довелось, и то тебе вина, – продолжал автоматически твердить воевода, так что даже Каргаска стал недоумевать: когда ж он ругаться-де начнет?

– А велит мне великий государь вины мои простить, и я грубство свое ему, великому государю, заслужу с лихвою: введу тебя, воеводу, со стрельцами в монастырь... Государь, смилуйся, пожалуй! – заключил Феклис и снова сделал поясной поклон.

– И не обманом хочешь нас под дурно подвести?

– Кака мне корысть подводить вас под дурно!

– И ты на том крест целовать будешь?

– И крест, и Евангелие целовать стану.

– Ладно. Надо об этом деле подумать.

Воевода почесал затылок, застегнул кафтан и вопросительно посмотрел на Киршу. Кирша нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

– А как ты ноне попал к нам? – снова обратился воевода к чернецу. – Как тебя выпустили?

– Я отай ушел, воевода.

– Как? Через стену?

– Нету, воевода: есть у меня там под землей заячья норка, норкою я и прополз.

– И ты нас хочешь оною норкою провести в стены?

– Нету, норкою не способно будет: узка гораздо, гладкой не пролезет.

– Так как же?

– Есть в стене место такое, проломное: с этой стороны его распознать нельзя, а я укажу.

– А дале что?

– Выломать камни, там не велика сила надобет.

– Ну, и что ж?

– В ночь выломаем, вот нам и ворота.

– И войдем?

– Ночью и войдем...

– Сонных, что щенят, заберем, лядиных детей! – Не вытерпел Кирша, брякнул радостно.

Не вытерпел и Каргас: выскочил из-за сундука и ну радостно и неистово лаять то на воеводу, то на Киршу, то на сухого стрельца с серьгой и даже на незнакомого чернеца.

– Цыц, анафема! Цыц, клятой! Вот взбесился! – кричал воевода; но пес уж и его не слушал: он по глазам видел, что воевода рад, и неистово выражал свой собачий восторг.

* * *

Кирша радостно потирал руки и ржал, глядя на Каргаску. Воевода шагал по палатке, отбиваясь от собаки, которая лезла целоваться. Феклис самодовольно, со злым выражением в красивых глазах, улыбался, навивая клок бороды на палец.

– И ты как перед Богом говоришь? – уставился воевода на чернеца.

– Как перед Богом!

– И укажешь место?

– За тем пришел, свою голову принес под осудареву плаху.

– И не величкой силой проломаем?

– Плевошное это дело будет.

– Ну, добро! И за то великий государь, его царское пресветлое величество, пожалует тебя таким жалованьем, какова у тебя и на уме нет.

Чернец поклонился, чтобы скрыть блеск глаз, говоривший о чем-то ином, только не о государевом великом жалованье.

– Что ж ты стоишь вороной! – вскинулся воевода на Киршу.

Кирша оторопел. Каргас тоже накинулся на него с лаем: воевода-де лает, так и мне следует.

– Беги живой ногой, веди попа с крестом и Евангелием, – пояснил воевода.

– Мигом, воевода! – икнул Кирша.

– Живо!

Каргаска с лаем кинулся за посланцем, и долго его радостный лай раздавался вдоль сонного берега моря, посыпаемого снегом.

XVI. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ «СОЛОВЕЦКОГО СИДЕНИЯ»

- Мама! Ты слышишь?
- Что, дитяtko?
- Слушай, а? Кто-то плачет.
- Что ты, глупая, кому теперь плакать?
- Ох, мама! Мне страшно: я слышу, как кто-то плачет.
- Да это ветер в трубе, ноли не слышишь?.. А ты перекрестись, прочти молитву Иисусову и спи.

Оленушка крестится, придерживая левой рукой рубашку, шепчет молитву и снова опускает свою растрепанную, со спутавшеюся косою голову на белую подушку. Тихо в келье. На дворе слышна вьюга. Сон так и клонит, тяжелит веки и туманит... Неупокоиха ровно посапывает...

- Мама! А мама!
- Ох, Господи Иисусе! Ты что опять?
- Мне не спится... У меня, мама, мысли...
- Какие у тебя, у глупой, мысли! Ноне не каталась на салазках, пурга, ну и не спится.
- Завтра покатаюсь, с Иринеюшкой... А мои салазки лучше его...
- Не в пример лучше... Ну, спи, дитяtko.
- А в Архангельском, мама, что теперь?
- Что, глупая! Спят.
- Батя спит?
- Нет, на салазках катается.

Оленушка смеется... Опять тихо, только вьюга завывает в трубе и под окном... Лампадка как будто вздрагивает... По стене словно тени какие ползут... слышен ровный сап... Где-то сверчок засверстит и смолкнет... Жутко Оленушке, нейдет сон, все что-то слышится в порываньях ветра за окном...

- Мама! Кто это стучит?
- Асинька? Ты все не спишь?
- А ты слушай, мама.
- Что мне слушать-ту? Тебя, дуру?
- Нету, мама, там стучит, слышишь?
- Это вьюга, ветер.
- А во что она стучит?
- А во что придется: в ставни, в било, у трапезы что висит.
- А как это, мама, мертвецы по ночам ходят?
- Что ты! Что ты, непутевая! С нами крестная сила, на нас кресты.
- А как же дедушка Спирия говорил, что к ему душенька ево Оленушки приходит?
- Что ты пустое мелешь, глупая? Какой Оленушки?
- А у него дочка была Оленушка.
- А! Ну, он святой человек, он видения в сониях видит.
- И я во сне все вижу, и Архангельской вижу часто, и батю, и как мы по грибы ходили.
- Ну, то-то же.
- А мне Исачко сказывал, что он сам лешего видел.
- А ты уж и с Исачком, глупая, подружилась!

– А как же, мама! В ту пору, как стрельцы шли на монастырь воропом, перед святками, и убили его турмана беленького «в штанцах», так мы с ним хоронили турмана, я плакала, плакала! И он, Исачко, плакал же.

– Было о чем дураку!

– Он, мама, не дурак, он добрый... И он сказывал, что часто видит во сне покойного турмана.

– Фу! С тобой точно одуреешь... Да спи ж ты, говорят тебе, сорока!

И Неупокоиха повернулась носом к стене и ухо заложила стеганым, полосатым, словно пашечная доска, одеялом. Скоро опять раздался ее сап, а Оленушка, полежав с закрытыми глазами, снова открыла их и стала смотреть на мигающие полосы на потолке: полосы шли от образов, от лампадки. Она задумалась об Архангельске: хотела вспомнить лицо Бори и не могла... Вот-вот, кажется, вспомнила, и, собственно, не его вспомнила, а то, как они грибы в лесу собирали, как нагнулись над одним грибом, как Боря взял ее руку, все это хорошо помнится: и как потом они потянулись друг к другу, как губы их слились и как коленями раздавили гриб, когда вырывалась, все это вспомнила она... но лица Бори никак не могла вспомнить... Это не его лицо, нет, это Иринеюшка... А вот и «архимандрит» Никанор на качелях качается, чудно что-то... И дедушка Спирия на салазках тут же... И Исачко за рога лешего ведет, леший его турмана поймал... Слышно, как стрельцы поют на берегу:

*Разогнал ее малых детушек,
Малых детушек, кукунятушек,
Что по ельничку, по березнячку...*

– Ох, Господи! Что это такое?

Оленушка, задремавшая было, снова проснулась. Послышался стук, и словно бы какие-то камни повалились... Опять тихо, только ветер пошумливает. Лампадка гаснет... Скоро, должно быть, утро... Опять стучит... Это, верно, какой-нибудь трудник встал рано и дрова колет за поварней... А вот уже месяц прошел, как стрельцы, перед святками, на вороп ходили, да их кипятком отгромили от стен... Тогда и чернец Феклис пропал, как в воду канул. Спирия сказывал, что Феклиса к стрельцам перебежал... Какие глаза нехорошие, стыдные какие-то у этого Феклиса... У Исачки лучше, хоть и косые... А у Иринеюшки?... На Дон хочет уйти... Зачем на Дон! Не надо!

Оленушка прислушивается... В монастыре что-то случилось: слышны голоса, стук, звяканье железом...

Оленушка вскочила: это уже не выюга. Голоса явственно слышны... это голос Исачки... Еще голоса... Гул...

– Мама! Мамонька! Вставай!

– Ты что! Ты сдурела?

– Ох, нет! Слышишь?

На дворе уже ясно слышались крики сотен голосов...

– Батюшки! Владычица! Не пожар ли?

И мать, и дочь стали торопливо одеваться.

– Ах, Господи! Что ж это такое? Не стрельцы ли?

В окно застучал кто-то.

– Батюшки! Кто там?

Стук повторился, только не в окно, а в дверь.

– Вставайте! Пожар! Кельи горят!

– Владычица! Скорей, Олена! Ох, матушки!

Оленушка бросилась к дверям, едва успев накинуть на себя шубку... Двери распахнулись... В этот самый момент что-то темное накрыло ее, и сильные руки схватили поперек стана...

– Мама! Ой! О-о!

Что-то мягкое зажало ей рот, и голос ее замер в груди... В ужасе Оленушка чувствовала, что ее куда-то несут... Сзади слышались отчаянные крики, стук оружия, пальба...

Оленушка все поняла: монастырь взят... Но куда ее несут? Где мама? Где Иринеюшка?..

* * *

– Ребятюшки! Голубчики! Отстоим! – слышался отчаянный голос Исачки.

– Владыко многомилостиве! Помози! – стонал где-то несчастный Никанор.

– Сдавайтесь, старцы! Вам ничего не будет.

– Поздно, святые отцы, монастырь наш.

– Никого не бить! Слышишь, ребята, отцов не трогать! – командует Кирша.

– Оленушка! Оленушка! Дитяtko! О-о-о! – Это отчаянный голос матери.

– А мама где? Мамушка! – испуганно вскрикнула она.

– Ничего, ничего, девынька, матушка там...

– Не сгорела?

– Ох, что ты! Помилуй Бог! Она тебя ждет.

– Где?

– Там, в монастыре.

Оленушка встала на ноги. Юродивый запахнул ее шубку.

– Студено, закройся.

Из монастыря доносился неясный гул и крики. Оленушка со страхом поглядела туда.

– Что там?

– Ничего, не бойся, дитяtko.

Как ни умел владеть собой юродивый, но Оленушка видела, что он дрожит.

– Там стрельцы, дедушка? – робко спросила она.

– Ничего, ничего, не пужайся...

– А Иринеюшка?

– Тамотка же.

Оленушка что-то вспомнила и задрожала всем телом.

– А где он?.. Это он унес меня...

– Пойдем, пойдем, – торопил ее юродивый.

Она оглянулась и увидела на белом, кровью окрашенном снегу широко раскинувшее руки мертвое тело. В груди его торчал нож... Мертвые, широко раскрытые глаза убитого глядели на небо, как бы спрашивая, что же там, когда здесь все кончено?

XVII. «НА ТЕПЛЫЕ ВОДЫ»

Вновь наступила весна. Суровое северное поморье, долго спавшее под снегом, проснулось под теплыми лучами весеннего солнца и зазеленело молодой зеленью. Зазеленел и Соловецкий остров, и Кемской и Сумской посадки, и Анзерский скиток... Только не ждут уже к себе молодые кемлянки и сумские молодухи дружков милых, молодых стрельчиков, а молодая Вавилкина-попадейка своего мила друга, Иванушку-воеводушку: с весной отплыли московские стрельцы со своим воеводушкой «на страну далече...». Тихо в монастыре и около.

Зазеленел с весной и Архангельской – славный город, о котором так долго скучала Оленушка: и в Архангельском, и вокруг него, как говорила Неупокоиха, «разтвяти твяти лазоревые и пошли духи малиновые».

Цветут садики вокруг торговой площади в городе Архангельске. Да и вся площадь, особенно у заборов, зеленеет молодую травкою.

Утро. Весеннее солнце, только что выкатившись из-за восточного взгорья, окрашивает золотисто-пурпуровым цветом церкви и крыши домов и протягивает длинные тени поперек всей площади. У торговых рядов и около казенных весов и мер да у кабацкого кружала стоят возы с припасами съехавшихся в город из окрестностей поселян. Привязанные у возов и хрептугов лошади, пережевывая сено и овес, то и дело ржут, не видя своих хозяев. А хозяйева, мужики и бабы, а равно рядские сидельцы и посадские люди, все это кучится к середине площади, где высится огромный деревянный «покой», два столба с перекладиною. С перекладины спускается длинная, круто плетенная веревка, с петлею на конце. Тень от виселицы и от веревки идет по головам собравшейся толпы, теряясь где-то за заборами и в зелени садиков.

Все смотрят на виселицу, перекидываясь односложными словами и междометиями. Иногда из нестройного гула ясно вырезется и замрет среди лошадиного ржания фраза удивления.

– Ишь ты, какой покой-от съерихонили, и-и-ах! – острят тут же толкающиеся земские ярыжки.

Под виселицей ходит варнак с рваными ноздрями, в красной касандрийской рубахе, с засученными рукавами и исподлобья вскидывает своими немигающими глазами на толпу. Это палач.

Два стрельца, приставив ружья к виселичному столбу, расположились под виселицей, и один у другого ищет в голове.

Вдруг где-то за площадью глухо застучал барабан. Толпа колыхнулась. По лицам у всех пробежали не то тени, не то лучистые искры. Головы поднялись и беспокойно задвигались на плечах. Барабан не умолкал, все более и более приближаясь.

Впереди взвод стрельцов, с барабанщиком в голове взвода. Барабан выбивал глухую беспорядочную дробь, а барабанщик, лениво колотя палочками по туго натянутой шкуре, шибко делал выверты локтями. Стрельцы шли сердито, как бы стыдясь своего дела, а понурый Чертоус беззвучно шевелил губами.

За стрельцами – жирный, красномордый попина, в черной рясе и с крестом в отекивших от жиру руках. Видно было, что торчавшая впереди виселица поглощала все его внимание.

За попом – поджарый подъячий, в потертом кафтане и с таким же потертым лицом. За ухом лебединое, в виде лопаты, перо, а у пояса медная с ушками чернильница.

За ним стрелец вел за поводок пегую клячу, на которой лицом к хвосту сидел высокий старик с седою, сбившеюся на затылок косою. В руках он держал горящую восковую свечу.

Далее следовала телега, в которой, лицом назад, покачивались при движении и терлись одна о другую плечами две человеческие фигуры. В руках их горели зажженные свечи.

За первой телегой другая. В ней тоже два седока задом и оба со свечами.

За телегами другой взвод стрельцов. У самых виселиц шествие остановилось. Стрельцы сняли с пегой клячи необычайного седока с седою косою. Старое, темное и осунувшееся лицо оборотилось к толпе и усталыми глазами из-под седых, нависших бровей глянуло на виселицу... На лице показалась грустная улыбка... Это был архимандрит Никанор.

Толпа замерла. Слышалось только усиленное дыхание да изредка подавленный вздох.

Сняли и с первой телеги двух седоков, у которых к ногам прикованы были дубовые колодки. У одного, высокого, плечистого, хотя, видимо, изможденного колодника, красная голова так и отливала на солнце золотом, а запавшие глаза искрились, как у кошки в темноте. Другой, худой и косматый, с сумою через плечо, казалось, любовался виселицею и всем, что он видел... Добрые глаза светились детскою радостью... Это были огненный чернец Терентьюшко, ученик Аввакума, и Спирия-юродивый.

Сошли со второй телеги, гремя цепями, как спутанные лошади, сотники Исачко и Самко.

Все осужденные встали в ряд. У каждого в руках горело по свечке. Все молчали, только Исачко косился на виселицу, над которой в голубой лазури утреннего неба кружились голуби, и судорожно улыбнулся: вероятно, ему вспомнился любимец его, турман «в штанцах», застреленный воеводою Мещериновым Ивашкою и теперь покоящийся в земле, на острове...

К осужденным подошел поджарый подьячий, вынул из-за пазухи кафтана бумагу, развернул ее, снял шапку и, крикнув пискливо-скрипучим голосом к толпе «шапки долой», стал гнусить что-то...

Все слушали как будто рассеянно, словно бы то, что читали, совсем до них не касалось... Никанор же, который стоял первым, слушая читаемое, задумчиво качал головой, между тем как посиневшие губы его беззвучно шептали: «И се мимо иде, и се небе... и камо иду, не вем... дние его яко цвет сельный – и тако отцветут... да-да, отцвели... отцветут и падут»...

Чтение кончилось... Он взглянул на свечку, вздохнул и сам задул ее... Потом положил свечку к себе за пазуху, бормоча: «Тамо зажгу ее... долог путь тамо, ох долог!» – и сам подошел к виселице.

Палач, казалось, не смел приблизиться к нему и глядел вопросительно на подьячего.

– Верши! – хрипло проговорил последний.

Палач протянул руку к петле. Никанор отклонил его руку.

– Сам на себя сумею венец-от надеть! – и поклонился на все четыре стороны. – Сам надену...

И надел: вложил шею в петлю, отведя в сторону волосы и освободив из-под веревки бороду, как делал он это обыкновенно, облачаясь в ризы перед литургиею... Он поднял глаза к небу...

– Господи! В руке Твои...

– Верши! – прохрипел подьячий.

Палач стремительно дернул за другой конец веревки. Веревка запищала в немазаном блоке... Тело старого архимандрита поднялось от земли... ноги подогнулись. Руки конвульсивно поднялись к шее... Палач встряхнул веревкой, еще, еще, и сам как бы повис на ней...

– О-ох! – послышался стон в толпе.

– Смотрите, православные, как люди на небо возносятся! Гляньте-ко! – раздался вдруг чей-то голос, так что все вздрогнули. То крикнул юродивый, указывая на колыхавшееся в воздухе бездыханное тело старого архимандрита.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.